INSPIRIA

18+



ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ОСКАР 2023

Лучший адаптированный сценарий

В переводе Екатерины Шукшиной

МИРИАМ ТЭЙВЗ

INSPIRIA

Говорят женщины
Мириам Тэйвз

Аннотация
Мириам Тэйвз. Говорят женщины
Предуведомление
Протоколы женских разговоров
6 июня. Август Эпп, перед собранием
6 июня. Протокол женских разговоров
6 июня. Ночью между собраниями
7 июня. Протокол женских разговоров
7 июня. Август Эпп, после собрания
Благодарности

Аннотация

Основанная на реальных событиях история скандала в религиозной общине Боливии, ставшая основой голливудского фильма.

Однажды вечером восемь меннонитских женщин собираются в сарае на секретную встречу.

На протяжении двух лет к ним и еще сотне других девушек в их колонии по ночам являлись демоны, чтобы наказать за грехи. Но когда выясняется, что синяки, ссадины и следы насилия – дело рук не сатанинских сил, а живых мужчин из их же общины, женщины оказываются перед выбором: остаться жить в мире, за пределами которого им ничего не знакомо, или сбежать, чтобы спасти себя и своих дочерей?

«Это совершенно новая проза, не похожая на романы, привычные читателю, не похожая на романы о насилии и не похожая на известные нам романы о насилии над женщинами.

В основе сюжета лежат реальные события: массовые изнасилования, которым подвер-

гались женщины меннонитской колонии Манитоба в Боливии с 2004 по 2009 год. Но чтобы рассказать о них, Тейвз прибегает к совершенно неожиданным приемам. Повествование ведет не женщина, а мужчина; повествование ведет мужчина, не принимавший участие в нападениях; повествование ведет мужчина, которого попросили об этом сами жертвы насилия.

Повествование, которое ведет мужчина, показывает, как подвергшиеся насилию женщины отказываются играть роль жертв – наоборот, они сильны, они способны подчинить ситуацию своей воле и способны спасать и прощать тех, кто нуждается в их помощи». – Ольга Брейнингер, переводчик, писатель

Мириам Тэйвз
Говорят женщины

Miriam Toews
Women talking
© 2021, Miriam Toews
© Шукшина Е., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023

Посвящается Марь
ricordo le risate
и Эрику
e ancora ridiamo [1]

[1] Примечания: 1
…я помню смех… и мы все еще смеемся *(ит.).*

Предуведомление

В 2005–2009 годах в отдаленной боливийской колонии Манитоба (по названию одноименной провинции Канады) многие девушки и женщины по утрам с трудом приходили в себя, были в синяках и крови, у них все болело, по ночам их насиловали. Изнасилования объясняли кознями призраков и демонов. Как полагали некоторые члены общины, страдания в наказание за грехи посылал женщинам Бог или Сатана; многие обвиняли их во *лжи*, якобы они хотели привлечь внимание или скрыть прелюбодеяние; третьи считали, что все это плод необузданной женской фантазии.

Как скоро выяснилось, жертв одурманивали анестетиком для животных члены общины, восемь мужчин, они же и насиловали. В 2011 году боливийский суд приговорил насильников к длительным срокам. В 2013 году, когда осужденные еще отбывали наказание, стало известно, что изнасилования в колонии продолжаются.

«Женские разговоры» — реакция на реальные события в виде вымысла и вместе с тем плод



женской фантазии

1.

2.

3.

Протоколы женских разговоров

Собрания в колонии Молочна
6 и 7 июня 2009 года, протоколы вел
Август Эпп.

Присутствовали:

Семейство Лёвен:
Грета, старшая
Мариша, старшая дочь Греты
Мейал, младшая дочь Греты
Аутье, дочь Мариши

Семейство Фризен:
Агата, старшая
Оуна, старшая дочь Агаты
Саломея, младшая дочь Агаты
Нейтье, племянница Оуны и Саломеи, воспитанница Саломеи

6 июня
Август Эпп, перед собранием

Мое имя Август Эпп, правда, оно не имеет никакого значения, кроме того, что мне поручили вести протоколы женских собраний, так как женщины неграмотны и не могут писать сами. Но поскольку речь идет о протоколах, а я их веду (а также поскольку я школьный учитель и ежедневно учу этому своих учеников), мне кажется, оно должно быть указано наверху страницы вместе с датой. Вести протоколы меня попросила Оуна Фризен, тоже из колонии Молочна, хотя она не использовала слово «протокол», а спросила, не могу ли я вести записи и подготовить соответствующий документ.

Наш разговор состоялся вчера вечером, мы остановились на тропинке между ее домом и сараем, где я живу, с тех пор как семь месяцев назад вернулся в колонию. (Временно, по словам Петерса, епископа Молочны. «Временно» может означать любой отрезок времени, поскольку Петерс не привержен общепринятому пониманию часов и дней. Мы здесь, или на небесах, навечно,

и больше нам знать ничего не нужно. В домах колонии живут семьи, а я один, поэтому, возможно, всегда, навечно останусь в сарае, что меня не очень волнует. Он больше тюремной камеры и достаточно просторный, чтобы мне разместиться там даже вместе с лошадью.)

Во время разговора мы с Оуной уходили от тени. Один раз посреди фразы ветер подхватил ее юбку, и я почувствовал, как подол проехался мне по ноге. Мы отошли на солнце, потом, по мере того как удлинялись тени, еще и еще раз, наконец солнечный свет исчез, и Оуна, рассмеявшись и погрозив заходящему солнцу кулаком, назвала его предателем и трусом. Я боролся с желанием рассказать ей про полушария, про то, что нам необходимо делиться солнцем с другими частями света, что, взявшись наблюдать Землю из окружающего пространства, можно увидеть целых пятнадцать восходов и заходов в день, и, наверно, необходимость делиться солнцем способна научить делиться и всем остальным, научить, что все принадлежит всем! Но вместо этого я кивнул. Да, солнце трусовато. Как и я. (Я промолчал еще, поскольку именно моя предрасположенность к вере, да еще такой экзальтированной, в то, что мы все могли бы делиться всем, не так давно при-

вела меня в тюрьму.) Надо сказать, я не владею искусством вести беседу и тем не менее, увы, постоянно страдаю от мук невысказанной мысли.

Оуна опять рассмеялась. Ее смех вселил в меня мужество, и мне захотелось спросить, являюсь ли я для нее физическим напоминанием о зле и, если так, считает ли меня таковым, то есть злом, община, не из-за того, что я сидел в тюрьме, а из-за того, что случилось давно, до того, как меня упрятали за решетку. Но вместо этого я просто согласился вести протокол. Разумеется. Не мог не согласиться, поскольку для Оуны Фризен сделаю все что угодно.

Я спросил у нее, для чего женщинам протоколы собраний, если они не смогут их прочесть. В ответ Оуна, как и я, страдающая нарфой, или болезненной возбудимостью нервной системы (моя фамилия Эпп происходит от «тополя» (aspen), тополя дрожащего, дерева, чьи листья постоянно трясутся и которое иногда еще называют женским языком, поскольку крона его постоянно в движении), сказала вот что.

Ранним утром она увидела двух зверей — белку и кролика. Оуна смотрела, как белка со всего размаху бросалась на кролика. Точно в тот момент, когда она должна была коснуться кролика, тот

высоко, на два-три фута подпрыгивал. Белку, по крайней мере так показалось Оуне, это приводило в растерянность, затем она разворачивалась и кидалась на кролика с другой стороны, но снова промахивалась, так как в самую последнюю секунду кролик опять подскакивал и уворачивался от белки.

История мне понравилась, поскольку ее рассказала Оуна, но я до конца не понял, зачем и что общего у белки и кролика с протоколами.

Они играли! — воскликнула Оуна.

Правда? — спросил я.

Оуна объяснила: Наверно, ей не полагалось видеть игры белки и кролика. Это случилось очень рано, кроме Оуны, на улицах колонии еще никого не было, волосы ее были едва покрыты, подол платья запачкан — подозрительное зрелище, дочь дьявола, как называл ее Петерс.

Но ты же видела? — спросил я. — Тайную игру?

Да, ответила она, собственными глазами, которые во время рассказа сияли от радостного возбуждения.

* * *

Срочно созвать собрание в связи со странными изнасилованиями женщин Молочны последних

лет предложили Агата Фризен и Грета Лёвен. С 2005 года некто — то ли призрак, то ли Сатана (так считали в колонии) — в наказание за грехи изнасиловал почти всех девушек и почти всех женщин. Происходило это по ночам. Пока их семьи спали, девушек и женщин при помощи баллончика с анестетиком на базе белладонны — им на нашей ферме обездвиживали животных — погружали в бессознательное состояние. Утром, проснувшись, часто в крови, с болью, они были будто пьяные и не понимали почему. Недавно восемь демонов-насильников оказались реальными мужчинами из Молочны, многие из них являлись близкими родственниками женщин: братьями, кузенами, дядьями, племянниками.

Одного я еле узнал. В детстве мы вместе играли. Он знал названия всех планет, хотя, может, и выдумал. Я звал его Фрог (на нашем языке — «вопрос»). Помню, уезжая из колонии с родителями, я хотел с ним попрощаться, но мать сказала мне, что он мучается коренными зубами (ему было двенадцать), а кроме того, подхватил какую-то инфекцию и его заперли в спальне. Сейчас я не уверен, так ли было на самом деле. В любом случае перед отъездом с нами не попрощался ни

Фрог, ни кто-либо другой из колонии.

Остальные насильники оказались намного моложе меня и, когда я уезжал с родителями, еще не родились или были совсем маленькими, я их не помню.

В Молочне, как и во всех наших колониях, самоуправление. Сначала Петерс решил на несколько десятилетий запереть мужчин в сарае (вроде того, где живу я), но скоро стало ясно, что их жизнь в опасности. На одного младшая сестра Оуны, Саломея, набросилась с косой, другого группа пьяных и озверевших мужчин, родичей изнасилованных женщин, подвесила на ветку дерева за руки. Он там и умер. Очевидно, пьяные и озверевшие мужчины, уйдя на сорговое поле, располагавшееся за деревом, о нем забыли. После этого Петерс и старейшины решили обратиться в полицию, дать арестовать мужчин — вроде как для их же безопасности — и увезти в город.

Оставшиеся мужчины (кроме совсем старых, хилых и меня — в целях унижения) отправились в город внести залог за арестованных насильников в надежде, что в ожидании суда те смогут вернуться в Молочну. Тогда женщины получат возможность простить обидчиков, гарантировав таким образом всем место на небесах. Петерс

говорит, если женщины не простят, им придется покинуть колонию и отправиться во внешний мир, о котором они ничего не знают. И теперь у женщин, чтобы дать ответ, очень мало времени, всего два дня.

Вчера, как сообщила мне Оуна, женщины Молочны провели голосование. В списке было три пункта.

1. Не делать ничего.
2. Остаться и бороться.
3. Уйти.

Каждый пункт представлял собой соответствующий по смыслу рисунок, поскольку женщины неграмотны. (Примечание: я не собираюсь постоянно напоминать о неграмотности женщин, только когда нужно будет объяснить определенные действия.)

Рисовала шестнадцатилетняя Нейтье Фризен, дочь покойной Мины Фризен, а теперь воспитанница своей тетки Саломеи Фризен. (Отца Нейтье, Бальтазара, Петерс пару лет назад отправил на юго-запад страны за дюжиной жеребят, и он так и не вернулся.)

«Ничего не делать» изображал пустой горизонт. (Такой рисунок мог бы означать и уход, подумал

я, но не сказал.)

«Остаться и бороться» символизировали два колониста, дерущиеся на ножах. (Женщины сочли рисунок слишком жестоким, но смысл ясен.)

А для «Уйти» Нейтье нарисовала зад лошади. (Он может означать и нечто иное: женщины смотрят, как уходят другие, опять подумал я, но не сказал.)

Голоса разделились пополам между вторым и третьим пунктами — поединком и лошадиным задом. Большинство женщин Фризен хотят остаться и бороться. Женщины Лёвен скорее за уход, хотя мнение менялось в обоих лагерях.

Есть еще женщины, проголосовавшие за «ничего не делать» и предоставить все воле Божьей, но их на собрании не будет. Самая шумная из тех, кто за «ничего не делать», — Янц-со-Шрамом, здоровенная костоправша, известная также своим уникальным глазомером. Как у члена Молочны, однажды поведала она мне, у нее есть все что душе угодно; ей лишь пришлось убедить себя: «что угодно» значит «очень немного».

Как сообщила мне Оуна, Саломея Фризен, страшная бунтарка, на вчерашнем собрании заявила, что не делать ничего в действительности не вариант, но позволить женщинам за

него голосовать значит по крайней мере дать им почувствовать свою значимость. Приветливая Мейал Лёвен (Мейал на плаутдиче — «девушка»), заядлая курильщица с желтыми кончиками пальцев, ведущая, по моим подозрениям, тайную жизнь, согласилась, однако заметила, что Саломею Фризен никто не уполномочивал решать, что такое действительность и что вариант, а что нет. Остальные Лёвен вроде бы закивали, а все Фризен стремительными, нетерпеливыми жестами выразили свое раздражение. Эта мелкая стычка хорошо иллюстрирует тональность дебатов между женщинами Фризен и женщинами Лёвен. Правда, поскольку времени мало, а принять решение нужно быстро, женщины Молочны уполномочили представительниц этих двух семей обсудить варианты (исключая «не делать ничего», который большинство отвергло как «глупость»), решить, какой лучше, и продумать, как его реализовать.

Примечание переводчика: женщины говорят на плаутдиче, или нижненемецком, единственном известном им языке; на плаутдиче говорят и все жители колонии Молочна, хотя сегодня мальчиков обучают в школе начаткам английского, а мужчины еще немного знают испанский.

Плаутдич — бесписьменный вымирающий средневековый язык, помесь немецкого, голландского, фризского и померанских диалектов. В мире очень мало людей, говорящих на плаутдиче, и каждый такой говорящий — меннонит. Я упоминаю об этом, поскольку должен объяснить: прежде чем занести что-либо в протокол, мне нужно быстро, в уме перевести слова женщин на английский, чтобы их записать.

И еще одно примечание, опять же не имеющее значения для женских дебатов, но необходимое для понимания того, почему я умею читать, писать и понимать по-английски: английский я выучил в Англии, куда моих родителей изгнал тогдашний епископ Молочны, Петерс-старший, отец Петерса, нынешнего епископа Молочны.

На четвертый год учебы в английском университете у меня случился нервный срыв (нарфа) и я оказался вовлечен в некую политическую деятельность, за что меня скоро исключили и на какое-то время посадили. Пока я сидел, умерла моя мать. Отец исчез за несколько лет до этого. У меня нет родных братьев и сестер, так как после моего рождения матери удалили матку. Словом, в Англии у меня не было никого и ничего, хотя в тюрьме по переписке мне удалось полу-

чить диплом. Очутившись в аховом положении, бездомный, полусумасшедший — или совсем сумасшедший, — я решил покончить с собой.

Выбирая способ самоубийства в публичной библиотеке, ближайшей к парку, который я сделал своим домом, я уснул. Спал я очень долго, в конце концов меня осторожно разбудила немолодая библиотекарша: мне пора идти, библиотека закрывается. Заметив мои слезы и расхристанный, отчаявшийся вид, она спросила, что случилось. Я сказал ей правду: я не хотел больше жить. Библиотекарша предложила пойти поужинать и, когда мы сидели в маленьком ресторанчике на другой стороне улицы, где располагалась библиотека, спросила, откуда я, из какой части света.

Из той, ответил я, которая создавалась, чтобы стать миром в себе, отдельно от мира. В каком-то смысле, сказал я ей, мои (помню, я процедил слово «мои» с иронией, но мне тут же стало стыдно, и я про себя попросил прощения) не существуют, по меньшей мере все исходят из того, что их считают несуществующими.

Может быть, нужно не так уж много времени поверить, что ты действительно не существуешь, сказала библиотекарша. Или что твое реальное существование в теле — извращение.

Я не очень ее понял и яростно зачесал голову, как собака, словившая клещей.

— А потом? — спросила она.

Университет, недолго. А потом тюрьма, ответил я.

Ах, вздохнула она, возможно, одно не исключает другого.

Я глупо улыбнулся. Моя вылазка в мир окончилась моим из него удалением, сказал я.

Как будто тебя призвали существовать, чтобы ты не существовал, рассмеялась она.

Отделили, чтобы я соответствовал, да, попытался я рассмеяться вместе с ней. Рожден, чтобы не быть.

Я представил, как мое крикливое младенческое «я» исторгают из матки матери, а затем спешно выдирают из нее и выбрасывают в окно саму матку, дабы предотвратить появление скверны — этого рождения, этого мальчика, его наготы, ее стыда, его стыда, их стыда. Трудно объяснить, откуда я, ответил я библиотекарше.

Я странника встретил из древней страны, сказала она, очевидно, цитируя поэта, которого знала и любила [2].

---

[2] Примечания: 2

Шелли П. Б. Озимандия. *(Здесь и далее прим. пер.)*

Я опять не очень ее понял, но кивнул и объяснил: вообще-то я меннонит, из колонии Молочна, но, когда мне было двенадцать лет, моих родителей изгнали и мы уехали в Англию. С нами никто не попрощался, сказал я библиотекарше (мне до сих пор стыдно за эти жалкие слова). Долгие годы я считал, что нам пришлось уехать из Молочны, так как меня застигли за воровством груш на ферме в соседней колонии Хортица. В Англии, выучившись читать и писать, я выложил камнями свое имя на большом зеленом поле, чтобы Бог быстро меня нашел и наконец наказал. Я хотел выложить из камней ограды еще слово «раскаяние», но мать, Моника, заметила, что стена между нашим и соседским участками исчезает. Как-то раз по узкой колее, оставленной на земле колесом тачки, она пошла за мной на поле и увидела, как я предаю себя Богу, при помощи камней ограды гигантскими буквами помечая свое местонахождение. Мать молча усадила меня на землю и обняла. Ограду нужно восстановить, через какое-то время сказала она. Я спросил, можно ли вернуть камни после того, как Бог найдет меня и накажет. Я был измучен неминуемым наказанием и хотел, чтобы оно уже состоялось. Мать спросила, за что, по моему мнению, Бог хо-

чет меня наказать, и я рассказал ей и про груши, и про мысли о девочках, и о своих рисунках, и о желании побеждать в спортивных играх, быть сильным. Как я лезу вперед, какой я тщеславный, похотливый. Мать рассмеялась, опять прижала меня к себе и извинилась за смех. Я нормальный мальчик, сказала она, дитя Бога — любящего Бога, что бы там ни говорили, — но соседи негодуют из-за исчезающей ограды, и камни надо вернуть.

Все это я рассказал библиотекарше.

Она понимает мою мать, ответила та, но очутившись там и будучи моей матерью, сказала бы нечто иное. Я как раз не нормальный, сказала бы она. Я невинен, да, но, хоть и не сделал ничего плохого, у меня необычайно глубока потребность получить прощение. Большинство из нас, сказала библиотекарша, прощает себе вину за перемены, идеализируя прошлое. И тогда мы живем свободно, счастливо, или если не совсем счастливо, то хоть не испытывая страшных мук. Она рассмеялась. И оказавшись со мной на том поле, сказала еще библиотекарша, она помогла бы мне испытать чувство, что я прощен.

Но прощен за что, конкретно? — спросил я. — За то, что воровал груши, рисовал голых девочек?

Нет-нет, ответила библиотекарша, за то, что

ты жив, что ты в мире. За наглость и тщету того, что ты жив, смехотворность твоей жизни, ее миазмы, ее неразумность. Вот что ты чувствуешь, добавила она, вот твоя внутренняя логика. Ты мне только что это объяснил.

И, по ее мнению, добавила она, сомнения, неуверенность, постоянные вопросы неразрывно связаны с верой. Ты живешь полной жизнью, сказала она, нашел способ пребывания в мире, разве нет?

Я улыбнулся. Почесался. В мире, сказал я.

Что ты помнишь о Молочне?

Оуну, сказал я. Оуну Фризен.

И я начал рассказывать ей об Оуне Фризен, моей ровеснице, той самой женщине, которая теперь просит меня вести протокол собрания.

После долгой беседы, по ходу которой я в основном говорил об Оуне, хотя и не только: как мы играли; как по едва заметному удлинению светлого времени суток замеряли времена года; как изображали мятежных учеников, сперва превратно понятых нашим вождем, Иисусом, однако посмертно провозглашенных героями; как на лошадях неслись друг на друга, держа в руках штакетины из забора (во весь опор, как те белка и кролик из рассказа Оуны); как целовались,

дрались, — библиотекарша высказала мысль, что я вернусь в Молочну, туда, где жизнь имела для меня смысл, пусть даже ненадолго, пусть даже в воображаемой игре в умирающем солнечном свете, и попрошу епископа (Петерса, младшего, ровесника моей матери) принять меня обратно. (Я не сказал библиотекарше, что это означало бы также попросить Петерса простить мне грехи родителей, грехи, связанные с хранением интеллектуальной продукции и распространением оной, хотя то были художественные альбомы, репродукции картин, найденные моим отцом в мусоре за городской школой, и вина его состояла только в том, что он показывал их другим членам общины, поскольку не мог прочитать текст.) Я предложу учить мальчиков Молочны английскому, еще сказала библиотекарша, языку, необходимому им для ведения дел за пределами колонии. И мы с Оуной Фризен опять подружимся.

Терять мне было нечего. Я прислушался к ее совету. Библиотекарша попросила мужа дать мне работу в его фирме при аэропорте, выдающей напрокат автомобили с водителями, и хотя у меня не имелось действительных водительских прав, я проработал там три месяца, чтобы заработать

денег на билет до Молочны, а спал на чердаке молодежного хостела. По ночам, когда мне казалось, будто голова сейчас лопнет, я заставлял себя лежать совсем неподвижно. Каждую ночь, замирая в кровати, закрывал глаза и улавливал еле слышные звуки пианино, тяжелые аккорды без сопровождения голоса. Как-то утром я спросил у человека, прибиравшегося в хостеле и тоже жившего здесь, слышит ли он по ночам тихие звуки пианино, тяжелые аккорды. Нет, ответил он, ни разу не слышал. Скоро я понял: мелодия, слышанная мною по ночам, когда разрывалась голова, была гимном «Велика верность Твоя», и слушал я собственные похороны.

Петерс, в высоких черных сапогах своего отца, по крайней мере похожих на те, принял к рассмотрению мою просьбу о допущении обратно в колонию и в конце концов заявил, что предоставит мне членство, если я в присутствии старейшин отрекусь от своих родителей (хотя один умер, а другой пропал), крещусь и буду обучать мальчиков английскому и арифметике за кров (в вышеупомянутом сарае) и трехразовое питание.

Я готов креститься, ответил я Петерсу, и обучать мальчиков, но от родителей не отрекусь. Петерс

остался недоволен, однако, страстно желая, чтобы мальчики научились считать, а может быть, смущенный моим присутствием, так как я очень похож на своего отца, согласился.

* * *

Весной 2008 года, когда я вернулся, о таинственных ночных беспорядках ходили только слухи, обрывки слухов. Один мой ученик, Корнелиус, написал стихотворение «Бельевая веревка», где речь шла о том, что простыни, одежда, развешенные на веревке у его матери, обладают голосом, переговариваются, сообщают новости другому белью на других веревках. Он прочитал стихотворение классу, и все мальчики смеялись. Дома расположены далеко друг от друга, электричества нет нигде, ни внутри, ни снаружи. По ночам они превращаются в маленькие склепы.

Возвращаясь в тот день в сарай, я обратил внимание на бельевые веревки Молочны, полощущиеся на ветру женские платья, мужские комбинезоны, скатерти, постельное белье, полотенца. Я внимательно слушал, но не мог разобрать, что они говорят. Может быть, думается мне сейчас, поскольку они говорили не со мной. Они говорили друг с другом.

В год моего возвращения женщины рассказали о своих снах, а вскоре, когда сложилась общая картина, догадались, что все видели один и тот же сон и что это вовсе не сон.

Сегодня собрались представители трех поколений женщин Фризен и Лёвен, все они неоднократно становились жертвами насилия. Я сделал простой подсчет. С 2005 по 2009 год более трехсот девушек и женщин Молочны были одурманены и изнасилованы в собственных постелях. Это происходило раз в три-четыре дня.

В конце концов Лайсл Нойштадтер решила несколько ночей не спать и поймала молодого человека, открывающего окно ее спальни с баллончиком белладонны в руке. Лайсл вместе со взрослой дочерью повалила его на пол и связала шпагатом. Утром поговорить с молодым человеком, Герхардом Шелленбергом, привели Петерса, и тот назвал еще семерых насильников.

Почти все женщины общины Молочна подверглись насилию со стороны кого-то из группы, но большинство (кроме девушек, слишком юных для понимания смысла происходящего, и женщин во главе с Янц-со-Шрамом, уже решивших не делать ничего) поставили крестик против своего имени, дав таким образом понять (и многие

весьма эмоционально), что не собираются принимать участие в призванных вынести решение собраниях, а посвятят свое время благоденствию общины и хозяйственным хлопотам, которых после отъезда мужчин стало больше, и если забросить их хотя бы на день, все посыплется, особенно если речь идет о дойке и кормлении животных.

У остальных самые молодые и шустрые девушки Фризен и Лёвен, Аутье и Нейтье, согласились получить устный ответ вечером, когда те вернутся домой.

И вот, чтобы выполнить то, о чем меня попросила Оуна, я жду на сеновале сарая, где мы без лишнего шума собрались сегодня утром.

6 июня
Протокол женских разговоров

Начинаем мы с омовения ног. Это требует времени. Каждая моет ноги соседке справа. Омовение предложила Агата Фризен (мать Оуны и Саломеи Фризен). Обряд станет сообразным символом нашего служения друг другу; так Иисус, зная, что Его час настал, на Тайной вечере омыл ноги апостолам.

У четырех из восьми женщин пластмассовые сандалии и белые носки, у двух тяжелые, потертые кожаные туфли (у одной разрезанные сбоку, чтобы не давила растущая шишка) и белые носки, еще у двух, самых юных, драные матерчатые кеды и тоже белые носки. Женщины Молочны всегда ходят в белых носках, и, кажется, по правилам платье должно доходить до носков.

Девушки в кедах, Аутье и Нейтье, в знак протеста скатали носки (элегантно), и те стали похожи на маленькие, обхватившие щиколотки пончики. Между скатанными носками и подолом платья видна голая кожа, пара дюймов, покусанная насекомыми (скорее всего, мошкой и

клещами). Заметны также бледные шрамы от порезов или натертостей. Во время омовения ног шестнадцатилетним Аутье и Нейтье трудно сохранять строгость, они шепчутся, что щекотно, и, пока их матери, тетки и бабки моют друг другу ноги, чуть не лопаются от смеха, пытаясь торжественно сказать друг другу: «Да благословит тебя Бог».

* * *

Начинает Грета, старшая Лёвен (хотя урожденная Пеннер). Исполнившись печального достоинства, она заводит речь о своих лошадях, Рут и Черил. Грета рассказывает, что первая реакция Рут и Черил (Рут слепа на один глаз, поэтому ее всегда запрягают слева от Черил) на испуг при виде одного или нескольких ротвейлеров Дюка на дороге, ведущей к церкви, — понести.

Мы все это видели, говорит она. (После коротких повествовательных предложений глаза у Греты обычно расширяются, она поднимает руки и опускает голову, словно говоря: ведь факт, согласны?) Лошади, испугавшись глупой собаки Дюка, не собирают собрания, чтобы наметить дальнейшие шаги, говорит Грета. Они бегут. И, поступая так, уходят от собаки и возможной

опасности.

Агата, старшая Фризен (хотя урожденная Лёвен), смеется (смеется она часто и очаровательно) и соглашается. Но, Грета, мы не животные, утверждает она.

Охотятся на нас, как на животных, отвечает Грета. Может быть, следует соответственно и реагировать.

Ты хочешь сказать, нам надо бежать? — спрашивает Оуна.

Или убить насильников? — спрашивает Саломея.

(Мариша, старшая дочь Греты, пока молчит, однако тихо фыркает.)

Примечание: как я уже говорил, Саломея Фризен в самом деле набросилась на насильников с косой, после чего их быстро вызволили Петерс со старейшинами и в колонию вызвали полицию. До тех пор в Молочну полицию не вызывали ни разу. Насильников увезли в город ради их же безопасности.

После этого Саломея попросила у Петерса и старейшин прощения за грех, но все равно еле сдерживает вулканический гнев. Ее взгляд безостановочно перебегает с места на место. А даже если в один прекрасный день у нее кончатся

слова, как, говорят, у женщин заканчиваются «яйца», думаю, она сохранит способность общаться и давать выход, устрашающий выход каждому чувству, порожденному тем, что сочтет несправедливостью. У Саломеи нет «внутреннего взора», она не умеет «витать», ей чуждо «блаженство одиночества» [3]. Да она и не одинока. Ее племянница Нейтье, привыкшая к более мягким манерам покойной матери Мины, но теперь находящаяся на попечении Саломеи, держится на расстоянии. Нейтье рисует и рисует, может быть, уравновешивая теткины бурные, похожие на лаву выплески слов твердыми, безмолвными линиями на бумаге. (Мне говорили, в дополнение к своим художественным способностям Нейтье еще и бесспорный чемпион Молочны по способности оценить, сколько продукта — муки, соли, сала — поместится в объем, так чтобы не осталось ни продукта, ни места.)

Агата Фризен, не пугающаяся вспышек Саломеи (она уже процитировала Екклесиаста, описав настроение Саломеи словами «нет ничего нового под солнцем» и «идет ветер к югу, а все реки текут в море» и т. д. Саломея ответила, что не

---

[3] Примечания: 3
Из стихотворения У. Вордсворта «Нарциссы».

надо, пожалуйста, распихивать ее высказывания по допотопным книгам Ветхого Завета, и разве не абсурд женщинам сравнивать себя с животными, ветром, морем и так далее? Разве нельзя найти человеческий прецедент, какого-нибудь человека, в ком мы увидели бы свое отражение, а оно потом отразилось бы в нас? Мейал, закурив, заметила: Да, я согласна, так лучше, но какой человек? Где он?), утверждает, что уже видела в жизни лошадей, ладно, пусть не Рут и Черил — со всем уважением к Грете и ее высокой оценке своих лошадей, — но других. Так вот те, когда на них набрасывалась собака, койот или ягуар, пытались противостоять и/или затаптывали их до смерти. Выходит, животные не всегда бегут от тех, кто на них нападает.

Грета соглашается: Да, она наблюдала подобное поведение животных, — и опять начинает рассказывать про Рут и Черил. Однако Агата ее прерывает и сообщает собранию, что у нее есть свой рассказ про животных, где тоже фигурирует ротвейлер Дюка. Она рассказывает быстро, с выражением, часто вставляя замечания, не относящиеся к делу.

Я не в состоянии расслышать и записать все подробности, но попытаюсь как можно точнее

пересказать историю ее интонациями.

У Дюка на участке водились еноты, которых он уже давно ненавидел всей душой, и когда самая жирная енотиха вдруг родила шестерых щенков, его терпению пришел конец. Он рвал на себе волосы. Он велел своему ротвейлеру их уничтожить, и собака послушалась. Енотиха, удивившись, попыталась спасти детенышей и уйти от собаки, но та растерзала троих щенят, и енотихе удалось спасти лишь троих. Она взяла их и ушла с участка Дюка. Дюк был просто счастлив. Он пил растворимый кофе и думал: слава Богу, конец енотам. Однако через несколько дней, выглянув на участок, увидел троих сидящих там щенят, опять вышел из себя и опять велел ротвейлеру их уничтожить. Но на сей раз енотиха ждала собаку, и когда та подбежала к щенятам, спрыгнула на нее с дерева, укусила в шею, в живот и из последних сил потащила в кусты. Дюк пришел в бешенство, но еще и опечалился. Он не хотел потерять собаку. Он пошел в кусты искать собаку, однако не нашел, хотя искал два дня. Он плакал. Грустный, Дюк вернулся домой, и там, у двери лежала лапа его собаки, а еще голова. С пустыми глазницами.

Реакция на рассказ Агаты неоднозначная. Грета

поднимает руки и спрашивает: И что мы должны из этого заключить? Нам надо подставить самых слабых членов общины насильникам, чтобы заманить тех в ловушку, расчленить и фрагменты подбросить на порог Петерса, епископа колонии?

История доказывает лишь, что животные способны как убегать, так и бороться, говорит Агата. Поэтому не имеет никакого значения, животные мы или нет, обошлись ли с нами как с животными или нет, и даже, знаем ли мы ответ на вопрос, что делать. (Она вбирает в легкие весь наличный кислород и выпускает его вместе со следующей фразой.) В любом случае, пустая трата времени — пытаться понять, животные мы или нет, поскольку мужчины скоро вернутся из города.

Руку поднимает Мариша Лёвен. Верхние фаланги указательного пальца на левой руке у нее обрублены, он наполовину короче следующего, среднего. Мариша заявляет, что, по ее мнению, важнее вопроса о том, животные женщины или нет, другой: нужно ли мстить за причиненное зло? Или простить мужчин и тем самым пройти в небесные врата? Если мы не простим мужчин и/или не примем их извинений, нас прогонят из колонии, отлучат и мы не попадем на небеса.

(Примечание: по правилам Молочны, все так, мне об этом известно.)

Мариша видит, что я на нее смотрю, и спрашивает, записываю ли я ее слова.

Я киваю, да, записываю.

Довольная Мариша спрашивает женщин о Втором пришествии. Как Господь, когда придет, найдет их, если они уйдут из Молочны?

Саломея презрительно ее обрывает и насмешливо объясняет, что, если Иисус способен воскреснуть, жить тысячи лет, а затем спуститься с неба на землю, чтобы собрать своих последователей, уж конечно, Он найдет возможность определить местоположение нескольких женщин, которые…

Теперь Саломею нетерпеливым жестом останавливает ее мать, Агата. Данный вопрос мы обсудим позже, мягко говорит она.

Мариша обводит всех яростным взглядом, возможно, в поисках единомышленницы по данному вопросу, кого-нибудь, кто разделил бы ее опасения. Все отворачиваются.

Саломея бормочет: Но если мы животные или даже имеем с животными нечто общее, вероятно, шансов пройти в небесные врата у нас все равно нет (она встает и идет к окну), если только не окажется, что животным туда можно. Хотя это

не имеет никакого смысла, поскольку животные обеспечивают нас пищей и трудом, а в раю ни то ни другое не требуется. Так что, пожалуй, меннониток на небо все-таки не пустят, поскольку, подпадая под категорию животных, мы будем не нужны там, наверху, где бесконечное «ля-ля-ля», напевает она.

Женщины, кроме сестры, Оуны Фризен, не обращают на нее внимания. Оуна улыбается — слабо, подбадривая, соглашаясь, хотя ее улыбка может служить и знаком препинания к фразе Саломеи, то есть молчаливой просьбой поставить точку. (Женщины Фризен разработали весьма эффективную систему мимики и жестов для умиротворения Саломеи.)

Слово берет Оуна. Она вспоминает сон, который видела два дня назад: в пыли за домом она нашла леденец, подобрала его и принесла на кухню, чтобы помыть и съесть. Но не успела она его помыть, как рядом с ней выросла огромная, под двести фунтов свинья. «Уберите от меня свинью!» — закричала Оуна. Но та прижала ее к стене.

Просто смешно, говорит Мариша. У нас в Молочне нет леденцов.

Агата, наклонившись, дотрагивается до руки Оуны. Давай ты расскажешь нам свои сны потом,

говорит она. После собрания.

Заговаривают сразу несколько женщин: они не в силах простить мужчин.

Конечно, говорит Мариша — кратко, опять уверенно. И все-таки после смерти мы хотим пройти в небесные врата.

Тут никто не спорит.

Тогда нельзя ставить себя в невыгодную позицию, продолжает Мариша, где мы будем вынуждены выбирать между отпущением грехов и вечной жизнью.

И что это за позиция? — спрашивает Оуна Фризен.

Так будет, если мы останемся бороться, отвечает Мариша. Мужчинам мы проиграем, зато возьмем на себя грех мятежа и несоблюдения нашего обета миролюбия и в конце концов окажемся в еще более подчиненном и уязвимом положении. Вдобавок, если мы хотим, чтобы Господь нас простил и принял в Свое Царство, нам все равно придется простить мужчин.

Но разве прощение по принуждению настоящее? — спрашивает Оуна Фризен. — Если на словах делать вид, будто прощаешь, а в сердце не прощаешь, разве такая ложь не еще больший грех, чем просто не простить? Разве не суще-

ствует прощения только от Бога, например, за насилие над детьми, прегрешение, которое родители просто не могут простить, и тогда Бог в Своей мудрости берет прощение на Себя?

Ты хочешь сказать, Бог позволит родителям такого ребенка оставить немного ненависти в сердце? — спрашивает Саломея. — Просто чтобы выжить?

Немного ненависти? — переспрашивает Мейал. — Смешно. Ведь из крошечных семян ненависти всходят крупные…

Не смешно, перебивает ее Саломея. Немного ненависти — неотъемлемая часть жизни.

Жизни? — опять переспрашивает Мейал. — Ты хочешь сказать, войны. Я заметила, как ты прямо оживаешь, когда убиваешь.

Саломея закатывает глаза. Не войны, выживания. И давай не будем называть это ненавистью…

А-а, ты предпочитаешь называть это неотъемлемой частью, говорит Мейал.

Когда мне надо забить свинью, я бью по твари сильно, говорит Саломея, так как гуманнее убить ее одним быстрым ударом, чем мучать медленными, что твоя система…

Я говорила не о том, как забивать свиней, воз-

ражает Мейал.

Во время прений дочь Мариши Аутье эдаким маятником начинает раскачиваться на балке, лягая тюки, так что из них вылетает и падает на голову Саломее сено. Мейал поднимает голову и велит Аутье вести себя прилично. Разве она не слышит, как скрипит стропило, или она хочет, чтобы рухнула крыша? (Я подозреваю, как раз этого она и хочет.)

Мейал тянется к табаку, но не скручивает цигарку, а просто легко кладет руку на кисет, вроде как на рычаг коробки передач уже заведенной для побега машины, а сама она ждет, зная, что, когда понадобится, все на месте, поскольку там ее рука.

Саломея не замечает сено в волосах, застрявшее над ухом, как библиотекарский карандаш.

После непродолжительной паузы Грета возвращается к вопросу Оуны. Может, такой вид прощения и существует, медленно говорит она. Только вот в Библии не описаны случаи прощения исключительно Богом.

Краткое наблюдение, касающееся Оуны Фризен: она отличается от других женщин, ее волосы забраны свободно, а не стянуты тупой силой примитивного на вид инструмента. Большинство

членов общины считает ее слишком мягкой, неспособной жить в реальном мире (хотя в Молочне подобное утверждение только наводит тень на плетень). Она не замужем, и ей позволяется некоторая свобода высказываний, поскольку ее мысли и слова считаются нелепицей, хотя это не помешало неоднократно подвергнуть Оуну насилию. Она легкая добыча, так как спит в комнате одна, а не с мужем, которого у нее нет. И, кажется, нет желания, чтобы был.

Чуть раньше она заявила: Когда мы освободимся, нам придется спросить себя, кто мы. Теперь она говорит: Я права, если скажу, что мы, женщины, сейчас спрашиваем себя, в чем наш приоритет и что правильно — защитить детей или войти в Царство Небесное?

Нет, говорит Мейал Лёвен, не права. Ты перегибаешь, на самом деле мы обсуждаем другое. (Ее рука все еще лежит на кисете с табаком.)

Тогда что же мы обсуждаем на самом деле? — спрашивает Оуна.

Отвечает Агата Фризен, мать Оуны (и тетка Мейал). Мы сожжем этот мост, когда дойдем до него, говорит она (намеренно неправильно используя выражение, чтобы ускорить темп разговора). И Оуна, снисходительная к матери, как и

к сестре, соглашается оставить тему.

Здесь я должен отметить, что глаза у Греты Лёвен постоянно открываются и закрываются, а по щекам часто катятся слезы. Я не плачу, говорит она, просто слезятся. Нейтье Фризен и Аутье Лёвен (последняя перестала раскачиваться на стропиле) ерзают на сиденьях и, спрятав руки под столом, без особого увлечения играют в какую-то игру, где надо хлопать в ладоши.

Я предлагаю сделать короткий перерыв, женщины соглашаются.

Агата Фризен предлагает перед тем, как разойтись, спеть гимн. Никто не против (кроме Нейтье и Аутье, которых, похоже, мысль о хоровом пении приводит в ужас). Женщины берутся за руки и поют «Трудись, ибо черная ночь грядет». Запевает Оуна Фризен, волшебно. Следует первый куплет гимна:

Трудись, ибо черная ночь грядет.

Трудись, когда вновь рассвет заалел.

Трудись, когда жаворонок поет.

Трудись, когда цвет весны запестрел.

Трудись, когда день с каждым днем растет.

Трудись, когда солнечный жар возжен.

Трудись, ибо черная ночь грядет
И труд человеческий завершен.

Женщины поют второй и третий куплеты, Нейтье и Аутье терпят поражение.

Грета Лёвен похлопывает Аутье по руке: «Давай». Костяшки на руке Греты выступают бугорками, как пустынные холмики на потрескавшейся поверхности земли. Вставные зубы слишком велики для ее рта и болят. Она вынимает их и кладет на фанеру. Протез ей дал любезный путешественник, прослышавший об изнасилованиях и приехавший в Молочну с аптечкой первой помощи.

Когда Грета закричала, насильник прикрыл ей рот с такой силой, что почти все старые и ломкие зубы раскрошились в пыль. Путешественника, подарившего Грете вставные зубы, выставил из Молочны Петерс, запретивший затем посторонним помощникам въезд в колонию.

Пение закончилось. Женщины расходятся.

Примечание: Саломея Фризен уходит чуть раньше, разозлившись на Оуну, которая спросила, так ли она поняла: женщины обсуждают, что правильно — защитить детей или войти в Царство Небесное, и нельзя ли совместить и то и

другое. У меня не было времени записать подробности ее ухода.

Агата тихо смеется и говорит женщинам, что ее дочь вернется, не волнуйтесь, пусть выпустит пар, пусть, пусть зайдет к детям, Мип и Аарону. Это ее успокоит.

Когда речь заходит о детях, терпение и выдержка Саломеи безграничны, но в общине она имеет репутацию борца, подстрекателя. Не умеет спокойно реагировать на авторитет и часто по ничтожнейшим поводам принимается воевать с другими членами общины. Например, однажды спрятала колокольчик столовой, заявив, не помнит, мол, куда, и все потому, что ей надоел звук — по три «чертовых» раза в день, а особенно надменность, с какой Сара Н. все время звонила в этот колокольчик, чаще, чем нужно. (Перестаньте мне указывать, когда я должна есть! — кричала Саломея.) В другой раз она во время ливня перевернула бочку Петерса для дождевой воды с криком, тот, дескать, слишком чист и мыться ему не надо, разве нет? Разве нет?!

Мне странно, что ее до сих пор не отлучили. Может быть, мелкие протесты Саломеи — удобный для Петерса выход, своего рода зрелище, удовлетворяющее потребность членов общины

в самоутверждении и позволяющее ему в более важных вопросах действовать безнаказанно?

Еще одно примечание: когда Оуна спускалась с сеновала, я успел сказать, что мне нравится ее сон про свинью. Она рассмеялась. И тогда я набрался смелости сообщить ей некие сведения.

Свиньи физически не способны смотреть вверх, ты знала? — спросил я у нее (Оуна, продолжая смеяться, как раз спускалась по приставной лестнице; она последняя уходила с сеновала).

Стоя на перекладине, она посмотрела на меня вверх и спросила: Вот так?

Тут уже рассмеялся я, а Оуна, довольная, ушла.

Она единственная, кто способен смотреть вверх, в небо, подумал я. Поэтому свинья из сна и прижала ее к стене. Но потом я подумал: возможно ли? Как я мог верно истолковать сон Оуны, если она даже на подсознательном уровне не в курсе физических ограничений свиней?

В камере (английской тюрьмы Уондсворт) мы с сокамерниками играли. Моя любимая игра называлась «Выбор». Зная, что предстоит умереть, сколько ты хотел бы прожить с этим знанием: год, день, минуту или вообще нисколько? Ответ: ни одно из перечисленных.

В тюрьме я как-то совершил ошибку и расска-

зал сокамерникам, какое счастье и утешение дает мне кряканье уток (а также вид их круглого, плоского клюва). Есть преступления, и есть преступления. С тех пор я научился почти все мысли держать при себе.

* * *

Мы опять собрались. И я смущен.

Во время перерыва на улице, у колонки, я встретил юную Аутье. Сначала мы молчали. Она с силой качала воду, а я смотрел в землю.

Когда она наполнила ведро, я прокашлялся и заметил ей, что во время войны, Второй мировой, в Италии, например, особенно в Турине, но и во многих других городах, мирное население пряталось в бомбоубежищах. А нередко, добавил я, мирные люди погибали, принимая участие в движении Сопротивления.

Аутье медленно попятилась, улыбаясь, кивая.

Да, сказал я, тоже улыбаясь и кивая. И в бомбоубежищах добровольцы, чтобы оживить генераторы, дававшие электричество, катались на велосипеде. Когда она раскачивалась на стропиле, я вспомнил об этом, о добровольцах, производивших энергию, катаясь на велосипеде. Если бы мы оказались в бомбоубежище, сказал я

Аутье, ты была бы прекрасным добровольцем.

Аутье логично спросила меня, куда бы она поехала на велосипеде, если бы мы находились в замкнутом пространстве.

Ах да, сказал я. Ну тогда стационарный велосипед.

Аутье улыбнулась и на пару секунд вроде задумалась. А затем напомнила мне, что ей надо отнести воду стригункам. Но сначала продемонстрировала свое умение выписывать ведром воды полный круг, не расплескав ни капли. Я неловко улыбнулся. Она побежала к лошадям.

Я глупо помахал Аутье в спину, облаку пыли, оставленному ей в кильватере. Я стоял на земле, полы рубашки хлопали, как у какой-то невозможной бесполетной птицы. Зачем я рассказал о Сопротивлении, о гибели мирных людей, пытавшихся себя защитить? Вроде как предположил, что ее могут казнить, дошло до меня.

Мне захотелось догнать Аутье и извиниться, что я ее напугал, но это напугало бы ее еще больше. А может, мои слова смешны ей так же, как и мне самому? Не очень утешает.

Вернулась Саломея, теперь ее глаза напоминают астероиды. Астероиды, разрушающие планеты. (Вероятно, детей она не видела. Я боюсь

спросить ее прямо.)

Поскольку мы завершили первую часть собрания гимном, говорю я женщинам, уместно ли будет, если я начну вторую, сообщив некие сведения, могущие послужить прообразом и стимулом?

Женщины соглашаются, хотя, пока я говорю, Мариша, хмурясь, подходит к окну и смотрит в него.

Я благодарю женщин и начинаю с напоминания о том, что мы, меннониты, пришли сюда с Черного моря. Наши единоверцы веками населяли его берега возле Одессы и, пока нас не начали истреблять, жили мирно и счастливо [4]. Так вот, глубинные воды Черного моря не смешиваются с верхними слоями, куда из атмосферы поступает кислород, в результате чего на глубине вода аноксигенна, то есть в ней нет жизни. В бескислородных условиях прекрасно сохраняются окаменелости, на них видны контуры мягких частей тел. Но откуда они взялись? Там

---

[4] Примечания: 4

В 1789 г. Екатерина II для защиты меннонитов от притеснений в немецких государствах выделила им для заселения пустующие земли Новороссии. До 1874 г. исповедовавшие пацифизм меннониты были освобождены от воинской повинности. Однако после того как они были признаны подлежащими воинской повинности, немалая их часть покинула Россию.

нет сильных отливов, приливов, поэтому поверхность Черного моря всегда спокойная и ясная. И все же под водой течет река, таинственная река, несущая, по предположению ученых, жизнь в непригодные для обитания придонные сферы. Но возможностей доказать это у науки нет.

Реакция женщин на стимулирующий мысль рассказ опять неоднозначная, большинство молчат. Оуна Фризен, известная своей любовью к разного рода сведениям, благодарит меня. В конце каждого предложения она делает резкий вдох, будто пытаясь втянуть слова обратно, будто сказанное пугает ее.

Мариша Лёвен, стоявшая к нам спиной, отворачивается от окна.

Ты хочешь сказать, спрашивает она меня, что женщины должны остаться в Молочне, не уходить? Что верхние слои Черного моря служат прообразом мужчин общины, а нижние — женщин, которые каким-то загадочным образом живы, хотя задавлены суровым, безжизненным мужским гнетом?

Мне очень стыдно за возникшее недоразумение, говорю я, но я только хотел как-то выразить, что жизнь, сохранение жизни возможны даже в условиях, представляющихся безнадежными. Я

лишь хотел вдохновить мысль, говорю я.

Мариша напоминает, что женщины просили меня всего-навсего вести протокол собрания и только из-за умения переводить и писать я не должен чувствовать себя обязанным терапевтически что-то предлагать для вдохновления мысли.

Твоя реакция выходит за рамки, быстро говорит Марише Саломея Фризен.

А тебе никто не давал какое-то особое право решать, что выходит за рамки, а что нет, — еще раз напоминает Саломее Мейал Лёвен.

Может, и дали, говорит Саломея.

Кто? — спрашивает Мейал. — Петерс? Бог?

Поверхность Молочны похожа на поверхность Черного моря, она всегда спокойная и ясная, говорит Саломея. Разве не понятно?…

И что? — обрывает ее Мейал.

Оуна, желая лучше понять положение дел в полных тайн глубинах Черного моря, спрашивает: А что такое мягкие ткани? Конкретно?

Кожа, мышцы, сухожилия, отвечает Агата. Думаю, все, что защищает твердые такни — кости, вообще все неподвижное.

Значит, мягкие ткани защищают твердые, из которых сделаны кости, говорит Мариша. Мягкие

ткани, как сказать… более выносливые, но в итоге разлагаются быстрее. Если только не сохранятся в полных тайн глубинах Черного моря, добавляет она, отделив паузой слова «в полных тайн глубинах Черного моря» и тем самым придав им театральности.

Я понимаю, насмешка в мой огород. Улыбаюсь. Впиваюсь ногтями в волосы на макушке. Говорю, что мягкими тканями часто называют то, что ими не является.

Наверно, говорит Агата, но…

И все-таки они крепче, перебивает Мариша, поскольку обладают восстановительными свойствами. Пока все не кончится.

Может быть, говорит Агата, хотя…

Ты имеешь в виду смерть? — спрашивает Оуна. — Когда говоришь «кончится»?

Мариша делает жест рукой: Да что же еще, черт возьми, может быть концом, если не смерть?

Но, Мариша, говорит Грета, физическая смерть еще не конец жизни.

Аутье и Нейтье вообще не обращают внимания на женщин, они увлечены собственным разговором. Нейтье кивает и с улыбкой смотрит в мою сторону. Я коротко думаю, не передала ли Аутье Нейтье наш разговор у колонки. И опять — пред-

сказуемо — веду себя глупо и неосторожно по отношению к девушкам, которые тут же отводят взгляд.

Значит, если Молочна — тело, говорит Оуна, мы, женщины, ее мягкие ткани, и…

Или, перебивает Саломея, Молочна — Черное море, а мы его полные тайн глубины. Вот что я пыталась вам сказать.

Мариша смеется и язвительно спрашивает у Саломеи, что же, по ее божественно-мудрому мнению, такого полного тайн в женщинах Молочны? Больше тайн в пленке, образующейся на моем утреннем молоке, говорит она.

Оуна признает, что пленка на молоке представляет собой загадку, и кивает Марише, видимо, в попытке подать знак дружбы или солидарности. Внимания. Оуна спрашивает у меня, не хочу ли я поделиться с женщинами еще какими-либо сведениями, вдохновляющими мысль.

Я яростно чешу макушку — обезьяний рефлекс, выработанный в тюрьме. Я понял, это дает мне некоторое время обдумать ответ на вопрос. Вопрос такой: Эпп, ублюдок, ты действительно хочешь, чтобы твои мозги размазались по земле?

На мое почесывание Оуна смеется.

Да, говорю я. Человеческие существа за жизнь

сбрасывают примерно сорок фунтов кожи, полностью сменяя кожный покров каждый месяц.

Вмешивается Нейтье. Но не шрамы, говорит она. Разве их можно заменить новой кожей?

Нет, говорит Аутье, поэтому они и называются шрамами, дурында. Девушки смеются и тычут друг в друга, однако не дотрагиваясь.

Ежемесячная смена кожного покрова совпадает со сменой слизистой матки, тоже каждый месяц, размышляет Оуна.

Откуда ты знаешь? — спрашивает Мариша.

Оуна смотрит на меня. Давным-давно Оуне об этом рассказала моя мать — в тайной школе, что означало вовсе не место, а беседы, называемые ею тайной школой. Она вела их с девочками во время дойки, когда Оуна и я были детьми, до того, как мы с родителями уехали из Молочны.

Мариша таращится на меня и спрашивает, уж не я ли рассказал Оуне про слизистую.

Нет, говорит Оуна, не Август. Его мать, Моника.

Мариша молчит.

Сведения, возможно, и полезны, но, наверно, нам все-таки лучше двигаться дальше, замечает Саломея.

Оуна, словно не слыша Саломею, говорит, что,

если мои сведения верны, то кожа, бывшая у женщин во время изнасилований, уже сменилась. Она улыбается.

Оуна, похоже, собирается что-то добавить, но Агата Фризен, заметив нетерпение и надвигающийся гнев Саломеи, резко спрашивает, не можем ли мы отложить дебаты по вопросам животные/не животные, прощение/не прощение, вдохновляющее мысль/не вдохновляющее, мягкие ткани/твердые ткани, новая кожа/старая кожа — и сосредоточиться на насущном вопросе, а именно: оставаться и бороться или уходить.

Женщины согласны, надо двигаться дальше. Саломея между тем отшвырнула свое ведро для дойки, оно шатается и только раздражает. Оуна встает, дает Саломее свое, а на ее ведро садится сама.

Усевшись, Оуна Фризен продолжает размышлять о сказанном. После слов Мариши о терапевтическом вдохновлении мысли ей еще кое-что пришло в голову. Она просит разрешения поговорить о прощении.

Женщины не возражают. (Хотя Нейтье Фризен закатила глаза, откинула голову и открыла рот. Смешно.)

Оуна говорит: Если старейшины и епископ

Молочны решили, что после изнасилований нам не нужна терапия, поскольку мы валялись без сознания, то что же мы должны или даже можем простить? Что-то, чего не было? Что-то, чего мы не в состоянии понять? И что это значит в широком смысле? Если мы не знаем «мира», он же нас не испортит? Если мы не знаем, что сидим в тюрьме, значит, мы свободны?

Девушки Нейтье Фризен и Аутье Лёвен, используя язык жестов, соревнуются, пытаясь превзойти друг друга в выражении скуки и недовольства. Аутье, к примеру, изображает, как, вставив в рот ружье, простреливает себе голову и сникает на ведре. Нейтье жалобно спрашивает: Так мы остаемся или уходим? Голова ее лежит на руке, и голос приглушен. Ладонь раскрыта кверху, как будто Нейтье ждет, чтобы ей дали ответ или капсулу с цианистым калием. Она сняла платок, и мне видна длинная, тонкая, очень белая линия по центру головы. Голая кожа, женщины называют ее пробором.

Грета Лёвен, тяжко вздохнув, говорит, что, хотя мы, возможно, и не животные, с нами обошлись хуже, чем с животными, да и вообще животные Молочны в лучшем положении, чем ее женщины, они в большей безопасности и за ними

лучше уход.

Из-за нехватки времени мы решили отложить вопрос о том, животные женщины или нет, напоминает Грете Агата Фризен.

Грета отмахивается от Агаты и, закрыв глаза, постукивает вставной челюстью по фанере.

Вступает Мариша: Я считаю, единственное решение — бежать.

Ух, что тут поднялось!

Все говорят одновременно. Все еще говорят, говорят, все сразу. Все еще говорят.

На меня смотрит Оуна. Я смотрю в записи. От волнения, из-за взгляда Оуны покашливаю. Женщины решают, что я так выражаю раздражение, призываю к порядку, и умолкают.

Мариша смотрит прямо на меня.

Я глажу горло, как будто оно чешется, как будто это начало болезни, может, стрептококк, как у юного

Аарона. Я не хотел никого призывать к порядку. Как внезапный паводок или сколотое копыто (слова Саломеи, произнесенные ею еле слышно, их трудно перевести), я мешаю Марише и, может быть, Саломее, раздраженной по другим причинам.

Саломея задиристо спрашивает: Мы так хотим

научить дочерей защищать себя — бежать?

Мейал Лёвен вставляет: Не бежать, а уйти. Мы говорим об уходе.

Саломея Фризен делает вид, будто не слышит Мейал: Бежать! Чем бежать, я скорее останусь, застрелю всех мужчин в сердце и сброшу их в колодец, а если надо, приму на себя гнев Божий!

Саломея, мягко говорит Оуна, пожалуйста, успокойся. Лёвен говорят про уход, не про бегство. Слово «бегство» неточно. Перестань.

Мариша негодующе мотает головой и язвительно извиняется за использование неточного слова, грех настолько страшный, что Саломея с ее замашками олимпийской богини и всемогущим разумом из человеколюбия сама должна поправить.

Саломея энергично возражает и в свою очередь обвиняет Маришу в неаккуратном обращении со словами. «Уход» и «бегство» — совершенно разные слова, — говорит она, — с разными значениями и особыми смыслами.

У Аутье и Нейтье пробуждается некоторый интерес к происходящему, они сдавленно хихикают. У Греты и Агаты на лице строгое, но покорное выражение, свидетельствующее о многолетнем знакомстве с подобными вспышками дочерей.

Агата сцепила руки и вращает большими пальцами. Грета похлопывает себя по голове.

Оуна Фризен печально смотрит в северное окно, на Рембрандтово рапсовое поле, на холмы, в сторону границы, возможно, на собственные видения.

Мейал Лёвен потихоньку скручивает цигарку. (Из того, что осталось от предыдущей, которую она элегантно потушила, сдавив кончик указательным и большим пальцами.)

Ну, Август? — говорит Агата, сидящая рядом со мной. Она приобняла меня за плечо! — Что ты обо всем этом думаешь? У тебя тоже есть мнение?

Мне приходит в голову история о корейском поэте Ко Ыне. И я рассказываю женщинам, как он четыре раза пытался покончить с собой, один раз влив себе в ухо яд. Он повредил барабанную перепонку, однако выжил. В другой раз барабанную перепонку ему повредили, когда посадили по политической статье и пытали. Во время Корейской войны его заставляли переносить на спине трупы. Потом он десять лет был монахом.

Женщины перестали спорить и слушают мой рассказ о поэте. Я замолкаю.

И что? — спрашивает Агата.

Ну что. Потом Ко Ын начал пить, и, когда в оче-

редной раз решил совершить самоубийство, на сей раз при помощи большого камня и веревки, в море между Корейским полуостровом и островом Чеджудо, пьянство спасло ему жизнь.

А где это? — спрашивает Аутье, но на нее зашикала мать.

Неважно, говорит Мейал.

Почему же, важно, говорит Саломея, но пусть Август сначала закончит историю.

Агата кивает мне, чтобы я продолжал.

На корабле, говорю я, продавали алкогольные напитки. Ко Ын подумал: почему бы не выпить перед смертью? Он выпил, потом еще, еще… Напился и уснул. А проснулся уже на пирсе. Он упустил возможность совершить самоубийство, а его ждали, поскольку стало известно о приезде на остров знаменитого монаха и поэта Ко Ына. Все надеялись, что он тут останется. Он и остался. И несколько лет был очень счастлив.

После некоторого молчания Мейал спрашивает меня, закончил ли я, и я отвечаю: Да.

Женщины молчат, только ерзают на ведрах, покашливают. Агата спросила меня, есть ли у меня мнение по вопросу, оставаться или уходить, — бормочу я. Я хотел лишь сформулировать свое понимание смысла этой истории: можно

уйти от кого-то или чего-то в одном состоянии духа и прийти куда-то в другом, совершенно неожиданном.

Это я уже поняла, говорит Мейал. Да и все мы, разве нет?

На уровне инстинктов мы понимаем множество вещей, тихо говорит Оуна, но формулировать их в виде повествования приятно и весело.

Саломея Фризен говорит, что у нее нет времени на приятности и веселье, и язвительно спрашивает, может ли попросить прощения, поскольку сейчас время обеда и ее очередь нести еду старейшинам, а еще нужно дать антибиотики младшей дочери.

Младшую трехлетнюю дочь Саломеи, Мип, мужчины в разных обстоятельствах насиловали два, а может, и три раза, но Петерс не разрешил ее лечить, потому что врач разболтает про события в общине, всем станет известно об изнасилованиях, и история непомерно раздуется. Саломея прошла двенадцать миль до ближайшей колонии, чтобы в мобильной клинике, по ее сведениям временно находившейся там на ремонте, раздобыть антибиотики. (И для себя спирта, как утверждала Мариша, которая иногда, когда Саломея выходит из себя, поднося ко рту руку, где якобы бутылка,

показывает, что Саломея тайком пьет.)

Я размешиваю ей антибиотики в протертой свекле, говорит Саломея, иначе не примет.

Женщины кивают: Иди, иди.

Если Мейал принесет с летней кухни суп, то сама она может захватить испеченный утром полбяной хлеб, уже уходя, говорит Саломея. У нас будет обед, и мы продолжим собрание за едой. Потом растворимый кофе.

Мейал лениво пожимает плечами — она терпеть не может, когда Саломея указывает ей, что делать, — но поднимается с места.

Агата тем временем сидит совершенно неподвижно и шевелит губами, читая молитву или стих, а возможно, какой-нибудь псалом. Мип — ее внучка, названная в честь нее. (Мип — прозвище.) Агата — сильная женщина, но всякий раз, слыша подробности изнасилования крошечной девочки, предательски цепенеет.

(Обнаружив, что Мип насиловали не раз, а два или три, Саломея отправилась к сараю, где держали мужчин, и, как я уже говорил, попыталась зарезать их косой. Именно данный случай убедил Петерса вызвать полицию, арестовать мужчин и отвезти их в город, где они будут в безопасности. Она просила прощения за вспышку, утверждает

Саломея, и мужчины ее простили, однако никто, включая Петерса, ничего такого не подтверждает. Возможно, эти события и не имеют отношения к собраниям, но мне кажется, они довольно важны и их надо вынести в сноску, поскольку, если бы насильников не забрали в город, а остальные мужчины не отправились вслед за ними внести залог, чтобы те могли вернуться в колонию, где их могли бы простить жертвы, а они, в свою очередь, получить прощение от Бога, никаких женских собраний не было бы.)

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, говорит Агата.

Она повторяет это еще раз, и Грета, взяв Агату за руку, молится вместе с ней.

Мейал Лёвен спустилась на улицу, видимо, покурить, хоть и заявила, что пошла за супом на летнюю кухню. Она велела племяннице Аутье остаться, и та скорчила гримасу, словно говоря: не больно-то и надо. А еще гримасу остальным, будто извиняясь за свою странную тетку — курильщицу, ведущую тайную жизнь.

За Мип и другими малышами колонии присматривают несколько молодых женщин в доме Нетти Гербрандт, чей муж отправился в город с остальными мужчинами. Брат-близнец Нетти

Гербрандт, Йохан, — один из восьми, кого будут судить. Сама Мип не понимает, почему у нее везде болит и что она подхватила заболевание, передающееся половым путем. Нетти Гербрандт тоже изнасиловали, возможно, ее же брат, и она до срока родила крошечного мальчика — он поместился в ее туфлю. Мальчик умер через несколько часов после рождения, и Нетти измазала стены своей спальни кровью и перестала разговаривать, делая исключение только для детей общины, поэтому ее и назначили смотреть за ними, пока остальные работают.

Мариша Лёвен считает, что Нетти сменила свое имя на Мельвин. Она считает, что Нетти поступила так, поскольку больше не хочет быть женщиной. Агата и Грета отказываются в это верить.

Я прошу небольшую передышку.

Оуна Фризен опять испытующе на меня смотрит — ее заинтересовало то ли слово «передышка» (которое она, вероятно, раньше не слышала), то ли представление о задержке дыхания, благородных муках невысказанной мысли, истории жизни, нити, что связует, образует узлы, скрепляет. Передышка, дыхание, задержка дыхания. История.

Женщины изъявляют мне свое согласие.

* * *

Я вернулся на собрание. Сижу один, жду женщин.

На улице я услышал из грузовика музыку — «Мечты о Калифорнии» в исполнении «Мам и пап» на радиостанции, где теперь поют старые песни. Я стоял в ста метрах от грузовика, вставшего на главной дороге, идущей по периметру колонии. Аутье и Нейтье слушали около машины. Кроме нежных, мелодичных голосов «Мам и пап», поющих о надежности и тепле Лос-Анджелеса, мечте о нем, звуков было мало. Девушки меня не видели, я уверен. Они застыли у двери водителя, пригнув шеи и опустив головы, как следователи, пытающиеся поймать подсказку, или участники торжественной траурной церемонии возле могилы.

Прежде чем заиграла песня, водитель грузовика по прикрепленному к кабине громкоговорителю сделал объявление. Его уполномочили провести перепись населения, и он просил всех жителей колонии выйти на улицу, чтобы их сосчитать. Водитель повторил объявление несколько раз, но ведь в колонии остались почти одни женщины, а

они не понимали его языка, а если бы и понимали, то не оставили бы свои дома, амбары, летние кухни, загоны для жеребят, курятники, прачечные… чтобы их пересчитал водитель грузовика, настроивший радио на волну с поп-музыкой. Кроме, конечно, Аутье и Нейтье, потянувшихся к машине, как заблудившиеся моряки к сиренам.

И вот я жду женщин, а в голове у меня неотвязно звучит песня «Мечты о Калифорнии». Я представляю, как учу женщин тексту, подстраиваю их пение под «Мам и пап», повторяя слова: призыв — ответ. Мне кажется, им понравилось бы. «Пожухли листья…» Я обвожу взглядом пустоту, слышу женские голоса.

Собрания проходят на сеновале сарая, принадлежащего Эрнесту Тиссену, больному старику, из тех, кто не поехал в город. Эрнест все забывает, в том числе и то, что женщины для собраний выбрали его сеновал. Он не помнит, сколько у него детей, живы ли братья и сестры, но одно помнит твердо: Петерс украл у него часы. Перед смертью отец Эрнеста оставил ему фамильную ценность, зная, что из всех его сыновей и дочерей Эрнеста наиболее завораживает и увлекает природа времени. Петерс уговорил Эрнеста отдать часы, поскольку время в Молочне вечно, земная жизнь,

если человек чист в глазах Божьих, естественным образом перетекает в небесную и поэтому время, а равно и часы, не имеет значения. Как выяснилось через несколько месяцев, Петерс поставил часы у себя в кабинете, том помещении в доме, где он готовится к проповедям и ведет дела колонии. Эрнест, хотя и впал в маразм, не забыл об украденных часах, как будто именно эта несправедливость раздалась, заняв все место у него в голове, как будто, отбросив все остальное, его назначили ее хранителем, и всякий раз, завидев Петерса, он спрашивает у него, когда, в какое время тот вернет часы.

Женщины решили собраться у него на сеновале, а не за кухонным столом, потому что на кухне под ногами всегда и везде дети. В семьях с пятнадцатью или двадцатью пятью детьми такое в порядке вещей. (Пару месяцев назад я проделал эксперимент: прошелся по главной дороге вокруг Молочны, по кукурузным и сорговым полям — несколько миль — и вдыхал только при виде ребенка. Дыхание у меня ни разу не сбилось.)

Стол наш устроен из тюков сена и фанеры сверху, а стульями служат ведра для дойки. Аутье и Нейтье, согнув ноги в коленях, иногда по очереди сидят на подоконнике или на седлах, которые

стащили из сбруйного сарая Эрнеста Тиссена и поставили на заплесневелую балку здесь, на сеновале.

Рядом с Оуной Фризен стоит пустое ведро для корма, так как она беременна и ее тошнит. Когда беременность Оуны стала очевидной, некоторые женщины колонии попытались поскорее выдать ее замуж за Юлиуса Пеннера, придурковатого сына Ондрея Пеннера. Юлиус заслуживает лучшего, чем больная нарфой, и запятнает себя грехом, если возьмет женщину, утратившую невинность, твердила Оуна. Старейшины колонии заключили, что Оуна не подлежит искуплению, что нарфа лишила ее способности рассуждать здраво. Мне кажется, я обязан отметить: вердикт старейшин (неспособность Оуны рассуждать здраво) — сплошной парадокс, и она избежит вечного проклятия, поскольку не совершала умышленного греха. Ее нерожденный ребенок, плод незваных гостей, как образно называют насильников старейшины, будет передан на воспитание другой семье колонии, возможно, даже семье незваного гостя, и будет считаться ребенком той семьи.

Все женщины возвращаются, не хватает только Аутье и Нейтье.

Они в конце подъездной аллеи Эрнеста Тиссена болтают с братьями Кооп из соседней колонии Хортица, говорит Мариша Лёвен. (Не совсем так, я знаю, но подозреваю, Мариша понимает, какой нагоняй девочки получат от Саломеи, если та узнает, что они слушали радио водителя, проводящего перепись. Мариша оберегает девочек и вместе с тем экономит время. Саломея вся состоит из необъяснимых противоречий: дерзкая, но придерживается традиций; воинственная, непокорная, но, когда речь идет о других, ревностно соблюдает правила.)

Остальные женщины хмурятся, но соглашаются: надо начинать без них.

Саломея спрашивает Мейал, курила ли та. Мейал спрашивает Саломею, какое ей дело. Они принесли с летней кухни хлеб, суп, растворимый кофе и раздают порции женщинам и мне.

Заявив, что сегодня необходимо принять решение, оставаться или уходить, Грета и Агата начинают собрание.

Когда они заканчивают, на сеновал возвращаются Аутье и Нейтье, позабавив нас очередным трюком. Прежде чем подняться, они тайком поставили под окном телегу с тюками сена. Аутье вскарабкивается по лестнице первой, отчаянно

стеная, что не может больше жить ни секунды, что жизнь слишком жестока. Она шатается, стонет, а затем устремляется к окну и выпрыгивает головой вперед.

Женщины вскрикивают, мы все бросаемся к окну (кто бежит, кто ковыляет) и видим Аутье, мирно сидящую на тюках. Оуна, оценив шутку, громко смеется, остальные же, стараясь ничем не выразить одобрения, качают головами и возвращаются на свои места за столом. Братья Кооп, говорит Нейтье, рассказали ей с Аутье (теперь я понимаю, девочки действительно беседовали с юношами Кооп, не просто ошивались возле грузовика), как их отец ездил в город продавать сыр и наткнулся на Ингерсолла (деверя Мариши и мужа одной из женщин, решивших не делать ничего). Ингерсолл, отправившийся в город с другими мужчинами Молочны, как раз вышел из здания суда проверить упряжку и сказал отцу Коопов (а тот передал другому их брату, а тот потом передал тем братьям Кооп, с которыми беседовали Аутье и Нейтье), что двое мужчин Молочны собираются вернуться пораньше и взять еще скот, а может, и лошадей, чтобы продать в городе и набрать деньги для залога.

Грета поднимает руки.

Агата замирает и щурится (теперь я вижу, что Саломея унаследовала свой взгляд от матери — ракета с тепловой головкой самонаведения).

Что значит «пораньше»? — спрашивает Мариша.

Девочки пожимают плечами.

Кто именно? — спрашивает Мариша.

В частности Клаас, отвечает Нейтье. (Клаас Лёвен, муж Мариши.)

Мариша вынимает изо рта тонкую куриную косточку, кладет ее рядом с миской и издает еле слышный звук.

Оуна протягивает мне большой рулон оберточной бумаги, куда упаковывают сыр и мясо, и говорит, что взяла его на летней кухне.

Моя мать, Моника, в детстве давала мне бумагу для упаковки сыра, чтобы рисовать.

Оуна просит меня написать на этой бумаге «за» и «против», относящиеся к двум вариантам. Их надо записать на большом листе бумаги. Никто из женщин прочесть не сможет, говорит Оуна, но мы сохраним его здесь, на сеновале, как память, пусть другие найдут.

Аутье и Нейтье переглядываются. Что она такое говорит? Почему она такая странная? Как нам не стать похожей на нее?

Да, пусть найдут, говорит Саломея (редкая минута нежности и благоволения к сестре).

Агата нетерпеливо кивает и быстро крутит руками (похоже на колесо повозки), что означает: давайте уже продолжать. Мейал (используя любую возможность по-быстрому затянуться) находит в сбруйном сарае гвозди и солонку, чтобы прибить упаковочную бумагу к стене. Оуна просит меня написать вариант «Остаться и бороться». Под ним я размечаю столбик «за».

Тут женщины начинают говорить все вместе, и мне остается только вежливо, с извинениями попросить их говорить по очереди, чтобы понять каждую и успеть записать.

ЗА

Нам не придется уходить.

Не придется собирать вещи.

Нам не придется выяснять, куда идти, или трястись от неуверенности из-за того, что мы не знаем, куда идем. (У нас нет карт.)

Саломея смеется над вторым «за», сочтя его нелепым. Единственное, в чем мы можем быть уверены, говорит она, это в неуверенности, вне

зависимости от того, где будем находиться.

Оуна возражает: Кроме уверенности в силе любви.

Саломея резко оборачивается к Оуне: Держи свои глупости при себе.

Мейал заступается за Оуну. Почему же нет, почему нельзя быть уверенным единственно в силе любви? — недоумевает она.

Потому что это не имеет никакого смысла! — кричит Саломея. — Особенно в таком чертовом контексте!

Агата резко обрывает дочерей и, меняя тему, показывает на девочек. Аутье, Нейтье, спрашивает она, у вас есть что добавить в список?

Саломея грызет ногти и жует обкусанное. Когда она их выплевывает, Мейал кривится.

А нам не придется оставить тех, кого мы любим? — спрашивает Нейтье.

Любимых можно взять с собой, замечает Грета.

Остальные сомневаются в практичности такого решения, а Оуна мягко замечает, что кое-кого мы не только любим, но еще и боимся.

Можно создать условия для нового порядка прямо здесь, в таком знакомом нам месте, добавляет Мариша.

Это не просто знакомое место, это наше место,

уточняет Саломея.

Но если мы уйдем, спрашивает Мейал, оно останется нашим? Сможем ли мы вернуться?

Август вернулся, говорит Саломея. Спроси у него.

Времени нет, говорит Оуна. Август, теперь напиши, пожалуйста, «против».

Я мысленно обнимаю Оуну, а она меня.

ПРОТИВ

Нас не простят.

Мы не знаем, как бороться. (Саломея перебивает: Я знаю, как бороться. Остальные старательно не обращают на нее внимания.)

Мы не хотим бороться.

Существует риск, что после борьбы положение станет еще хуже.

Оуна поднимает руку и просит слова. (Наверно, насмешливо, в ответ на мою просьбу к женщинам говорить по очереди, думаю я.)

Пожалуйста, говорю я ей.

Не следует ли, прежде чем мы перечислим все «за» и «против» остаться и бороться, точно понять, за что мы, собственно, боремся? — спра-

шивает Оуна.

Мариша быстро отвечает: Ясно же, за нашу безопасность и свободу от изнасилований!

Да, соглашается Оуна, но что это за собой влечет? Может, нам стоит написать манифест или революционное заявление (мы с Оуной быстро переглядываемся; я знаю, она имеет в виду мою мать, та всегда — в полях, амбарах, при свете свечей — составляла какие-то революционные заявления. Я опускаю голову и улыбаюсь), формулирующее условия жизни в колонии, которых мы желаем/требуем после победы в борьбе? Может, нам надо точнее понять, чего мы хотим достигнуть в борьбе (а не только что хотим разрушить) и какие шаги необходимы для достижения этого, даже после победы в борьбе, если она будет одержана?

Когда говорит Оуна, заявляет Мариша, у меня в голове будто жеребята бьют копытами. На такую дискуссию нет времени. Кое-кто из мужчин вернется в колонию раньше, напоминает она.

Агата, успокаивая Маришу, соглашается с ней, но в свою очередь напоминает, что собрания и планы нужно удержать в секрете от тех мужчин, кто вернется раньше, а еще, что мужчины вернутся в колонию ненадолго, забрать скот на продажу,

и быстро опять уедут в город. Поскольку, по слухам, один из них — муж Мариши Клаас, Агата напоминает ей: нужно держаться, так сказать, «естественно». (Она использует нижненемецкое выражение, которое не так-то легко перевести на английский. В нем речь идет об определенных фруктах и зиме.)

Остальные, соглашаясь, серьезно кивают.

Агата продолжает и просит Оуну сформулировать революционное заявление.

Я замечаю, что Нейтье и Аутье, по большей части относящиеся к Оуне с опаской, поскольку у нее репутация женщины, потерявшей страх, что для членов общины равнозначно утрате морального компаса и превращению в демона, обращают на нее все свое внимание.

Это очень просто, говорит Оуна и набрасывает несколько мыслей: Мужчины и женщины должны принимать решения в колонии сообща. Женщинам разрешат думать. Девочки должны учиться читать и писать. В школе нужно вывесить карту мира, чтобы мы начали понимать свое в нем место. Женщины Молочны создадут новую религию, выведенную из старой, но с центром в любви.

(У меня заболело в груди. Оуна почти дословно

повторяет один из уроков моей матери Моники в тайной школе для девочек. Она смотрит на меня, пытаясь поймать мой взгляд, сообщить что-то очень важное, что-то сохранившееся в памяти, утраченное.)

Мариша выразительно сводит брови.

Оуна продолжает: Дети должны быть в полной безопасности.

Грета закрывает глаза и повторяет слово «сообща», будто это название неизвестного ей овоща.

Мариша больше не может сдерживаться и обвиняет Оуну в мечтательстве.

Мы женщины без голоса, спокойно говорит Оуна. Женщины без времени, места и даже без языка той страны, где живем. Мы меннониты без родины. Нам некуда возвращаться, и даже животные в Молочне в большей безопасности, чем мы. У всех у нас, у женщин, есть мечты, так что, разумеется, мы мечтательницы.

Мариша фыркает. Хочешь послушать, о чем мечтаю я? — спрашивает она и, прежде чем кто-либо успевает ответить, излагает свою мечту о том, чтобы людям, больным нарфой, не поручали формулировать революционные заявления.

Оуна улыбается на шутку Мариши, но не раздраженно, а искренне.

Младшая сестра Оуны и Саломеи, Мина, в общине имела репутацию постоянно улыбающегося человека. Ее звали Радостная Мина. Оуна сейчас улыбается как Мина.

(Даже в смерти она, кажется, улыбалась. На похоронах Мины Оуна спустила ей платок на пару дюймов, обнажив следы от веревки на шее, и громко сообщила общине, что ее сестру убил не нашатырный спирт, как утверждал Петерс. Мину нашли в петле на стропиле конюшни. Петерс прервал панихиду и попросил дьяконов Клиппенштайна и Унрау отвести Оуну домой. Службу проводили на улице возле церкви, поскольку телам самоубийц в храме находиться не полагается. Тело Мины лежало на глыбе льда, под солнцем. Оно опускалось все ниже и ниже, к земле, его медленно окружал темный круг отсыревшей почвы. Оуна убежала от мужчин. Петерс принялся молиться за Оуну. Члены общины склонили головы.

Нейтье, дочь Мины, ныне на воспитании у Саломеи. Мина повесилась, после того как Нейтье изнасиловали в спальне, руки ей грубо связали шпагатом, она вся была в крови, испражнениях и семени. Сначала Петерс заявил Мине, что в изнасиловании повинен Сатана, что налицо Божье

наказание, что Бог наказывает женщин за грехи. Затем, что она выдумала про изнасилование. Он повторил слова «необузданная женская фантазия», интонационно отделив слова друг от друга — получилось три коротких предложения. Мина потребовала уточнить, что же все-таки: Сатана или ее фантазия, — и расцарапала Петерсу глаза. Она сорвала одежду и изрезала себя ножницами. Потом пошла на конюшню и повесилась. Петерс срезал веревку, опустил тело и заявил общине, что Мина надышалась нашатырным спиртом, когда чистила конюшню. Агата Фризен, мать Мины, омыла ее тело собственными слезами. Так говорят женщины общины, а они при этом присутствовали.)

С нее хватит, заявляет Агата. Ранее сформулированное революционное заявление Оуны разумно, утверждает она, его можно потом добавить, оно станет манифестом, бесстрашно говорящим о том, чего хотят женщины общины, если останутся и будут бороться.

Грета поднимает руки и спрашивает: А что будет, если мужчины откажутся выполнять наши требования?

Оуна отвечает: Мы их убьем.

Аутье и Нейтье ахают, потом робко улыбаются.

Мейал под таким впечатлением, что достает табак и бумажки для цигарок на виду у всех.

Агата встает и обнимает Оуну. Нет, leibchen, шепчет она, нет, и объясняет остальным, что Оуна пошутила.

Саломея пожимает плечами. Может, и нет.

Агата тычет Саломею в плечо и говорит: Мы найдем дорогу и двинемся в путь.

Грета медленно кивает. Да, но ты о чем, Агата? Мы уходим?

Путь — это много чего, отвечает ей Агата.

«Фризеновская болтовня» (которую Мариша называет «болтовней в кофейне», хотя ни разу не бывала ни в одной кофейне) выводит женщин Лёвен из себя.

Аутье не без опаски предлагает написать «за» и «против» ухода, все соглашаются.

Я обращаю внимание, что Аутье и Нейтье сняли платки и, сплетя длинные волосы в одну косу, теперь неразрывно связаны.

УХОДИТЬ

ЗА

Нас здесь не будет. Мы будем в безопасности.

Тут вмешивается Мариша. Может, и не будем, говорит она. Но первое — несомненный факт: если мы уйдем, нас здесь не будет. Она обводит взглядом собрание. Разве у нас так много времени, чтобы обсуждать очевидное?

Не надо все понимать буквально, отбивается Саломея и дополняет список:

> Нам никто не будет приказывать прощать мужчин, поскольку нас здесь не будет и мы не услышим никаких приказов.

Да, язвительно говорит Мариша, но, согласно манифесту Оуны, нужно установить новые способы прощения; тогда мужчинам будет запрещено заставлять нас их прощать, как и вынуждать нас уходить из колонии, если мы их не простим, как и грозить нам тем, что Бог нас не простит, если мы их не простим. И она напоминает, как ранее Оуна утверждала, что зло, причиненное детям, в силу его гнусной порочности нужно отнести к той категории, которую может простить только Бог. Оуна, похоже, считает, что у нее есть какая-то власть создавать новые религии.

Вовсе нет, мирно возражает Оуна. Она не верит во власть, точка, поскольку власть ожесточает

людей.

Саломея перебивает: Тех, кто властью обладает, или тех, кто ей не обладает?

Мариша не обращает на нее внимания. Как, черт возьми, можно не верить во власть? — спрашивает она Оуну.

А как, черт возьми, можно верить во власть? — спрашивает Оуна.

Грета и Агата в один голос просят их замолчать.

Мы увидим немного мира? Такое «за» предлагает Нейтье Фризен.

Я замечаю, что по мере того, как терпение пожилых женщин начинает истощаться, это пространство не без боязни занимают девочки. Они все еще сплетены одной косой. Снова на ум приходят слова песни «Мечты о Калифорнии», и я напеваю: «Пожухли листья…»

Некоторые смотрят на меня с любопытством, особенно Аутье и Нейтье. Наверно, удивляются, почему я мурлычу песню, слышанную ими по радио у грузовика. Может, я шпионил за ними? Мне хочется сказать, что я не шпионил, все вышло случайно, но я понимаю, это невозможно. Я прошу перейти к «против» ухода.

Ход собраний будут определять они, женщи-

ны, напоминает мне Мариша, а не «грошовый» фермер-неудачник, schinda, в чьи обязанности входит преподавание.

Грета взрывается и, встав, кричит: Мариша! С минуты на минуту вернется Клаас, и, раздражаясь, ты тратишь время, больше ничего! Клаас придет в твой дом только забрать животных и продать их за деньги для залога, чтобы насильники вернулись в Молочну, и набросится на тебя и детей, а ты, как всегда, ничего ему не скажешь, уж скорее, как гатлинг, начнешь пулять в нас своей не туда направленной яростью. Что тут хорошего?

Женщины молчат.

Я извиняюсь за то, что неправомерно попытался ускорить процесс, не моего ума дело.

Женщины ничего не отвечают. Грета тяжело дышит.

Примечание: слово, брошенное мне Маришей, schinda, означает дубильщик, дубильщик кож. В России, когда меннониты обитали у Черного моря с его таинственной подводной рекой, мужчины, неспособные жить крестьянским трудом, были вынуждены пасти скот для других меннонитов. Если корова умирала, пастуху вменялось в обязанность освежевать ее и выдубить шкуру. По-

этому schinda называют бестолкового человека, ничего не понимающего в хозяйстве. В Молочне самое страшное оскорбление.

Слово берет Грета и говорит нечто неслыханное. Я больше не меннонитка, говорит она.

Хитрованки Аутье и Нейтье, хоть и сохраняют безразличный вид, встревоженно вскидывают глаза.

Как говорила Оуна, нам, женщинам, придется спросить себя, кто мы, продолжает Грета. Так вот, заключает она, я сказала вам, кем не являюсь.

Агата смеется. Грета много раз заявляла, что больше не меннонитка, тем не менее она родилась от меннонитов, живет как меннонитка, с меннонитами, в колонии меннонитов и говорит на меннонитском языке.

Все это не делает меня меннониткой, упорствует Грета.

А что сделало бы тебя меннониткой? — спрашивает Агата.

Аутье, как мне кажется, в попытке восстановить порядок снова подает голос, предлагая несколько «против» ухода.

У нас нет карт, говорит она.

Но остальные, слушая спор Агаты и Греты, не обращают на нее внимания.

Аутье и Нейтье раскачиваются из стороны в сторону, будто перетягивая канат в виде соединившей их косы, правда, осторожно. Аутье продолжает: Мы не знаем, куда идти.

Нейтье со смехом добавляет: Мы даже не знаем, где находимся!

Девочки смеются вместе.

Наконец Грета поворачивается к ним с криком: Тихо! И: Приберите волосы.

По лестнице на сеновал забирается маленькая дочь Саломеи Мип и зовет мать. Саломея подхватывает ее на руки. Мип плачет. Она напугана. Она слышала женские крики. Стесняясь, так как ей уже три года, Мип просит Саломею сменить ей подгузник.

Агата тихо объясняет мне, что у Мип почти год не было подгузников, однако недавно она попросила их опять.

Саломея обнимает Мип, гладит ее по голове, что-то шепчет, целует. Оуна обнимает сестру за плечи, а та баюкает Мип.

Может, на сегодня хватит? — спрашивает Агата.

Мейал кивает, но просит написать на упаковочной бумаге хотя бы пару «против» ухода, чтобы женщины и я знали, с чего начинать завтра или

сегодня вечером, если будет возможность вырваться из дома.

Саломея встает с Мип на руках.

Их нет, говорит она. Нет никаких «против» ухода.

Я представляю, как она сейчас уйдет, будет становиться меньше и меньше, как все так же, с Мип на руках, пройдет соевое поле, кофейное, кукурузное, сорговое, переправу, пересохшее русло реки, овраг, границу, ни разу не обернувшись бросить последний соленый взгляд на то, что оставляет.

И врата ада не одолеют ее.

Пожалуйста, сядь, говорит Агата, дотронувшись до руки Саломеи.

Саломея повинуется матери, садится и пристально смотрит куда-то в срединное пространство.

Но вот по лестнице на сеновал поднялась и предстала перед женщинами Нетти (Мельвин) Гербрандт. Она извиняется, что упустила Мип и той удалось сбежать к матери, хотя говорит без слов.

Агата отмахивается от извинений. Ничего страшного, ласково отвечает она и просит Нетти вернуться к другим детям, которые, наверно, остались без присмотра. А Мип пока побудет с

Саломеей.

Нетти энергично кивает и спускается по лестнице.

Мы все знаем, что Нетти на пределе, замечает Агата остальным.

(Нетти не разговаривает, только с детьми, но по ночам члены общины слышат ее крики во сне, хотя, может, она и не спит.)

Агата предлагает женщинам спеть для Мип, и Грета соглашается.

Подростки, Аутье и Нейтье, снова недовольны, хотя все же присоединяются к женщинам, запевшим мелодичный гимн «Дети Отца Небесного».

Оуна улыбается мне. (А может, она улыбалась просто так и только я заметил.)

Во время пения (и, возможно, только во время пения) женские голоса парят в совершенной гармонии. Мип прижимается к груди матери.

Я должен бы включить сюда текст гимна, но, по правде сказать, почти все забыл (его вытеснили «Мечты о Калифорнии»), а записывать не успеваю. Пока женщины поют для маленькой Мип, я буду молиться молча. Вспоминаю отца. Вспоминаю мать. Вспоминаю жизнь, запах материнских волос, тепло склонившейся к земле отцовской спины под солнцем, его смех, мать,

бегущую ко мне, свою веру. Не имея родины, куда можно вернуться, мы возвращаемся к вере. Вера — наша родина. «Велика верность Твоя», звучит в голове, разуме, мыслях, мозгах, в моем доме, на моих похоронах — но не в моей смерти.

День подходит к концу. Пение закончилось. Коровы требуют дойки. Мухи, вылетевшие из укромных тенистых мест, бросаются на грязные стекла. Собаки Дюка лают от голода, но Дюк в городе, а больше никто и мизинцем не пошевелит, чтобы их покормить.

Как будто мои мысли слышны, Мариша говорит, что даст потом немного мяса собакам Дюка, а то они набросятся на детей.

С летней кухни на сеновал Эрнеста Тиссена доносятся отчетливые запахи укропа и жареной колбасы.

Грета спрашивает общего мнения: Мы можем договориться, что завтра утром примем решение — оставаться или уходить, — а потом его выполним?

Все женщины по очереди по-своему соглашаются. Но когда очередь доходит до Мейал Лёвен, она ставит вопрос:

Если женщины действительно уйдут из колонии, как мы будем жить с болью, оттого что

больше не увидим своих любимых: мужей, братьев, мужчин?

Саломея, похоже, хочет что-то сказать, но Мейал, останавливая ее, поднимает руку.

Саломея что-то шепчет Мейал. Мип ворочается у нее на руках, но не плачет. Мейал улыбается.

Они коротко смеются и снова перешептываются.

Какой мужчина? — спрашивает Саломея.

Хватит, говорит Мейал. (Есть ли у нее тайная жизнь?)

Марише, судя по всему, не терпится закончить собрание. Мужчины, говорит она, могут сопровождать женщин, но только если подпишут манифест и примут его условия.

Оуна вежливо спрашивает у Мариши, не она ли раньше отвергла манифест как беззубую бумажку.

Мариша открывает рот, но быстро вмешивается Саломея. Время исцелит наши обремененные сердца, говорит она. Наша конечная цель — свобода и безопасность, а ее достижению мешают именно мужчины.

Но ведь не все, говорит Мейал.

Оуна уточняет: Может быть, не мужчины как таковые, а пагубная идеология, которой было

позволено проникнуть в их умы и сердца.

Встревоженная Нейтье, поскольку теперь до нее доходят последствия, спрашивает: А если женщины решат уйти, она правда больше никогда не увидит своих братьев?

(Здесь я должен пояснить, что в колонии не строго придерживаются общепринятого представления о братьях и сестрах. Мужчины, женщины, мальчики, девочки — все называют друг друга братьями и сестрами, и на самом деле все состоят в довольно близком родстве.)

А кто будет заботиться о наших братьях? — спрашивает Аутье.

Агата Фризен с беспокойством просит женщин снова занять свои места. Важные вопросы, серьезно говорит она. И прежде чем принять окончательное решение, оставаться или уходить, мы должны на них ответить.

Справедливо, говорит Грета. Белые пряди выбились у нее из-под платка, выдыхая, она уголком рта отгоняет ос. Зубы ее все еще лежат на фанере. Она спрашивает: А как насчет подоить и приготовить ужин?

Женщины отвечают на вопрос пустыми взглядами.

Я смеюсь, сам толком не понимаю почему, за-

тем быстро извиняюсь. Вижу, как Мип уснула на руках у Саломеи.

Агата, судя по всему, проявляя высшее милосердие по отношению к юным леди, спрашивает, позволят ли присутствующие покинуть собрание Аутье и Нейтье, чтобы те могли присоединиться к вечернему пению женщин колонии.

Саломея возражает. Эти самые юные леди, Аутье и Нейтье, напоминает она, поставили довольно толковые вопросы о мальчиках и мужчинах. И им следует остаться, дабы принять участие в дебатах по их же вопросам, а самое главное, получить ответы, которые мы на них дадим.

Так оставьте их, во имя любви к Иисусу Навину, Судьям Израилевым и Руфи! — кричит Мариша.

Агата улыбается и раскачивается из стороны в сторону (как всегда, когда ей что-то нравится или она чем-то довольна). Хорошо сказано, говорит она.

Саломея, изображая потрясение, говорит: Не знала, Мариша, что тебе известна очередность книг Библии, поскольку у тебя, кажется, никогда не имелось Вечной Книги.

Грета кладет руку Марише на локоть, не давая ей ответить на шпильку Саломеи, и что-то шеп-

чет, возможно понимая страх Мариши оттого, что Клаас скоро вернется, а ужин не готов.

Аутье и Нейтье, попавшие под перекрестный огонь старших, окаменели, как статуи.

Агата делает глубокий вдох. Дойку и ужин могут легко взять на себя женщины «на земле», говорит она, имея в виду невысказанные женские страхи. А для будущего женщин полезнее остаться сейчас на сеновале и разрешить последние сомнения.

Оуна говорит: Я бы не стала характеризовать будущее наших отношений с мальчиками и мужчинами, которых мы любим, именно как «последние сомнения».

Кажется, произнося эти слова, она посмотрела в мою сторону, но точно не могу сказать. «Моя сторона» там же, где и окно (сразу за мной), грязное, с ползающими мухами, выходящее на мили и мили полей, неба, галактик, а потом бесконечности. Так что, может, и нет.

* * *

Женщины устраиваются для дальнейшей дискуссии. На их лица, на кусок фанеры, предназначенный быть им столом, падают тени. Я заметил несколько мышей — или это одна,

особенно энергичная? Аутье и Нейтье, все еще смешно сплетенные воедино, платками отмахиваются от мух.

(Вообще-то в присутствии мужчин платок должны надевать все женщины и девушки старше пятнадцати. До сего дня я ни разу не видел волос Аутье и Нейтье. Они очень мягкие — светлые у Нейтье, с разными оттенками от почти белого до золотистого и русого, и темные у Аутье, с легким медно-каштановым отливом, под цвет ее глаз, а также грив и хвостов Рут и Черил, пугливых лошадей Греты. Стыдно признаться, но я спрашиваю себя: может, в глазах Аутье и Нейтье я недостаточно мужчина или вообще не мужчина, чтобы в моем присутствии покрывать голову?)

Агата снимает обувь и поднимает ноги на кусок дерева, уменьшая мучающее ее скопление жидкости. Она называет это отечностью, причем произносит слово «отечность» с некой гордостью в голосе. (Наверно, точно называя то, от чего страдаешь, получаешь удовлетворение.)

Саломея уложила Мип на лошадиный потник рядом с собой, и ребенок стал центром внимания собравшихся женщин.

Агата попросила меня написать большими буквами:

ВАРИАНТЫ
ДЛЯ
МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ, ЕСЛИ ЖЕНЩИНЫ РЕШАТ УЙТИ:

1. Им можно будет уйти вместе с женщинами, если они захотят.

2. Им можно будет уйти вместе с женщинами, но только если они подпишут заявление/манифест.

3. Им придется остаться.

4. Им можно будет присоединиться к женщинам позже, когда те решат, куда идти, и обустроятся в благоденствующей демократической/принимающей совместные решения/грамотной общине (и будут постоянно следить за исправлением/поведением мужчин и мальчиков в отношении женщин и девочек).

NB. Мальчики до двенадцати лет, глуповатые мальчики любого возраста, пятнадцатилетний Корнелиус (прикованный к инвалидному креслу), а также пожилые/немощные мужчины, которые не в состоянии заботиться о себе (это те, кто остался

в колонии, не поехал в город), автоматически уйдут с женщинами.

Впервые с начала собрания присутствующие, похоже, по-настоящему растеряны. Они молчат, глубоко задумавшись.

Мариша первая берет слово и голосует за первый вариант.

Это не подходит больше никому. Все говорят в один голос, и Мариша скрещивает руки на груди. Ей не терпится уехать. Она выплескивает на пол остатки кофе и говорит, что хочет повеситься.

Мариша, говорит Оуна, возможно, мужчины действительно захотят пойти с нами, может, даже все, но тогда мы в другом месте, где бы ни очутились, лишь воссоздадим нынешнюю колонию, со всеми ее угрозами.

Агата добавляет: А они почти наверняка пойдут с нами, так как без нас не выживут.

Грета смеется: Ну, пару дней выживут.

Саломея отмечает, что первый вариант действительно спорный. Если мы все-таки решим уйти, а не остаться и бороться, говорит она, то уходить надо до возвращения мужчин, чтобы у них не было никакой возможности к нам присоединиться.

Мейал, которая теперь курит открыто (хотя,

широко махая руками, отгоняет дым подальше от спящей Мип, поскольку Саломея злится), заявляет, что первый вариант просто-напросто смешон и его нужно вычеркнуть из списка. Далее она утверждает, что по той же причине сомнителен и второй вариант (позволяющий мужчинам уйти вместе с женщинами, если те подпишут манифест с требованиями). Более того, говорит Мейал, даже если бы мы решили уйти только после возвращения мужчин и взять с собой тех из них, кто согласится подписать манифест, откуда нам знать, что они не покривят душой? Кому, кроме женщин Молочны, лучше известно двуличие мужчин?

Отлично сказано, говорит Оуна.

Мариша заявляет: Что ж, тогда ставим на этом крест и бросаем мужчин. Третий вариант! Она стучит кулаком по столу (фанере), и Мип ворочается.

Саломея просит Маришу вести себя потише.

Ты впадаешь из одной крайности в другую, возражает Грета Марише. То разрешаешь всем мужчинам, если они захотят, пойти вместе с нами, то всех бросаешь.

Тогда почему, спрашивает Мариша, если первый и третий варианты такие радикальные,

сомнительные и абсурдные, мы написали сначала их? Чтобы убить время? Чтобы дать Августу Эппу больше времени попрактиковаться в письме?

Августу Эппу практика уже не нужна, бормочет Оуна. Может, Мариша завидует, что он умеет писать?

Она не завидует женоподобному мужчине, который не способен ни как следует вспахать поле, ни выпотрошить свинью, уверяет Мариша Оуну.

Порядок! — кричит Агата. — Первый и третий варианты, как вытекает из протокола, очевидно нереалистичны и невыполнимы. Вариант второй сомнителен, поскольку мы, женщины, не можем быть уверены в том, что мужские подписи под нашим манифестом будут иметь какой-то смысл, что мужчины подпишут его всерьез.

Короче, говорит Грета, остается, похоже, только четвертый вариант.

(Напомню: он позволяет мужчинам при соблюдении определенных условий присоединиться к женщинам позднее.)

То есть из написанных на упаковочной бумаге вариантов, говорит Мариша, остался один.

Да, кивает Агата. Но мы выработали их вместе, и нам нужна какая-то система. Если есть другие

варианты, они не могут находиться только у нас в голове, их нужно сформулировать и задокументировать.

Это ты так считаешь, говорит Мариша. Лично я ношу у себя в голове множество вариантов.

Но ведь сейчас они нам не помогут, правда? — говорит Грета. — Мы не знаем, какие у тебя там варианты, разумны ли они. Ты не хотела бы изложить их, если они существенно отличаются от тех, которые мы уже совместно сформулировали, а Август Эпп любезно записал на бумаге?

Мариша молчит.

Аутье говорит: Мне нравится четвертый вариант.

Мне тоже, говорит Нейтье.

Агата улыбается девочкам. И у Аутье, и у Нейтье есть младшие и старшие братья, а кроме того, отцы, кузены, кого они захотят когда-нибудь увидеть.

Все ли согласны на четвертый вариант, спрашивает Грета, с оговоркой, что в будущем мы можем изменить свое мнение? И что любое такое изменение можно будет принять, имея в виду одну-единственную цель: безопасность девочек и женщин и вероятность исправления мужчин и мальчиков Молочны?

О, негодование Саломеи вылилось слезами, поразительная перемена! Сдерживая их, она прижимает указательные пальцы к уголкам глаз, возле переносицы.

(Я вспоминаю, как Оуна в конце предложения всегда делает сильный вдох, вдыхая слова обратно в себя, чтобы было надежно. Если женщины решатся на четвертый вариант, любимый сын Саломеи Аарон останется с мужчинами, так как ему больше двенадцати лет. Хотя только исполнилось.

Аарон — славный мальчик, непринужденно-изящный, один из лучших моих учеников, хотя скоро навсегда покинет школу, чтобы помогать старшим на поле. Он носит титул чемпиона колонии по хождению по забору. Благодаря врожденному чувству равновесия может пройти по всей верхней трехдюймовой перекладине забора, окружающего загон возле конюшни. Из деталей машин, дерева и бечевки мы с мальчиками смастерили для него кубок, а Корнелиус, умеющий прекрасно выжигать по дереву, в нижней части искусно написал курсивом имя и титул Аарона! Кубок у Аарона отобрал Петерс, предупредивший его, а на следующий день и всех нас, о последствиях — неопределенных, хотя и содержащих

плотоядных червей: тщеславие и гордыню.

Тем утром, когда Петерс отобрал у Аарона кубок, я извинился перед классом и отправился в поле за школой. Я стоял и молился. Опустился на колени и молился. Слушал слова Бога, ответ. Но слышал только собственные мысли, свернувшихся змей и яд моих слов, вот каких: «Сегодня я понял, что такое поджог». Я представил себе, как мои ученики, мальчишки Молочны, одни в классе, ждут меня или не ждут, а проказничают, кидаются животными экскрементами, смеются, ехидничают, замирают от страха, просят пощады, дергают друг друга за подтяжки, хватают шляпы, а самые маленькие с застывшими улыбками молятся, чтобы я вернулся и утихомирил больших, восстановил порядок, я, учитель, который, желая единственно все это сжечь, сжечь дотла, стоял на коленях в поле за школой и рыдал.

В тюрьме один мой сокамерник недопонял, решил, что я поджигатель в прямом, а не переносном смысле, и рассказал мне о своих чувствах, сложной паутине огня, гнева и разрушения. Я сделал вид, будто внимательно слушаю, так как испугался. Стал бы он говорить со мной, если бы знал правду?)

Агата, обняв Саломею за плечи, говорит ей,

что грустное расставание с Ааароном на какое-то время только даст стимул ей, Саломее, и другим опечаленным матерям выстроить новую, лучшую колонию для всех.

Мейал, хотя у нее нет сына, которого пришлось бы бросать, тоже расстроена. Они с Саломеей частенько ссорятся, но, когда трудно, всегда заодно. Теперь Мейал обходит фанеру, приближается к Саломее и крепко обнимает ее.

Но почему, спрашивает Саломея, если пятнадцатилетние мальчики уже в городе с мужчинами (пятнадцать — возраст крещения и полноправного членства в церкви), если мальчикам до двенадцати можно уйти с женщинами, мальчиков тринадцати и четырнадцати лет нужно оставить сомнительному попечению мужчин, их воспитанию? Почему таким мальчикам, их ведь совсем немного, не разрешить пойти с нами, если мы уходим? А если насильников выпустят под залог, они вернутся в колонию, обнаружат, что девочек и женщин нет, и примутся за мальчиков?

Вступает Мейал: Конечно, чего бояться тринадцати- и четырнадцатилетних мальчиков? Почему они не могут пойти с нами?

Оуна сражает меня вопросом. Август, говорит

она, ты учишь мальчиков. Что ты об этом думаешь? Представляют ли мальчики такого возраста угрозу для наших девочек и женщин?

Мне приходится прервать записи, чтобы как следует ответить на ее вопрос. Я просто не в состоянии сдержать свое счастье и удивление оттого, что Оуна задала мне вопрос, что я формулирую ответ на нижненемецком, тут же перевожу в уме на английский и почти одновременно записываю перевод на бумагу. Пытаясь ответить на вопрос Оуны, я ненадолго откладываю ручку.

* * *

Я снова беру ручку, и женщины принимаются говорить между собой.

(Оуна поблагодарила меня за вдумчивый ответ на свой вопрос. Радость переполняет меня, я пытаюсь ее подавить. Хотел бы я уметь превращаться в камень так же легко, как Нейтье с Аутье. Сколько же проблем в моей жизни можно было бы предотвратить, если бы я был более… выдержанным.)

На вопрос Оуны, представляют ли мальчики тринадцати и четырнадцати лет угрозу для девочек и женщин колонии Молочна, я дал ответ: Да, возможно. Каждый — мужчина, женщина —

представляет потенциальную угрозу. Мальчики тринадцати-четырнадцати лет способны причинить большой вред девочкам и женщинам, а еще друг другу. Неуправляемый возраст. Мальчики такого возраста находятся во власти безоглядных желаний, бурного развития организма, безудержного, часто приводящего к травмам любопытства, необузданных эмоций, в том числе искренней нежности и сострадания, им также не хватает опыта и интеллектуального развития, чтобы как следует понять или оценить последствия своих слов и поступков. Они похожи на стригунков: молодые, неуклюжие, радостные, сильные. Высокие, мускулистые, сексуально любознательные существа, еще неспособные контролировать свои импульсы, но — дети. Дети, и их можно учить. Я никудышный учитель, несостоявшийся фермер, schinda, женоподобный мужчина и, самое главное, верующий. Я верю, под руководством, в твердой любви и терпении мальчики способны освоить новую роль мужчин в колонии Молочна. Верю в то, что великий поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж считал основными правилами воспитания маленьких детей: «Трудиться с любовью и тем порождать любовь. Приучать ум к интеллектуальной точности и истине. Возбуждать силу

воображения». Свою «Лекцию о воспитании» Кольридж закончил словами: «Соревнование и споры мало чему учат, всему можно научить сочувствием и любовью» [5].

Когда я говорил это женщинам, Оуна подняла глаза, посмотрела на меня и одними губами произнесла слова Кольриджа вместе со мной. «Сочувствием и любовью». В тайной школе моя мать часто цитировала Кольриджа, своего любимого поэта-романтика, мечтателя-метафизика, страдающего, загадочного, красивого.

Я, чуть не плача, с силой кивнул женщинам — безумец, печальный клоун. Я сказал: По моему мнению, если женщины решат уходить, таким мальчикам надо разрешить пойти с ними.

Мариша отвечает первой. Вопрос предполагал простой ответ — «да» или «нет». Чего ты взялся разглагольствовать? Болтаешь чепуху, как все мужчины. Почему нельзя сказать просто?

Я чешу в голове. Простите, говорю я.

Оуна, не обращая внимания на Маришу, спрашивает меня: Август, что ты будешь делать в

---

[5] Примечания: 5

Автор дает видоизмененную цитату Кольриджа, которая, в свою очередь, встречается в письмах его современника — Генри Крабба Робинсона, британского журналиста и адвоката, известного мемуариста.

колонии, если некого будет учить?

Прежде чем мне собраться с мыслями и ответить, Мариша язвительно говорит: За неимением всего остального Августу, несомненно, представится хорошая возможность освоить орудия настоящего ремесла, вроде сельского хозяйства.

Может, старшие мальчики будут и дальше посещать занятия, замечает Нейтье. Кому больше пятнадцати, кто уже в церкви, те останутся.

Аутье кивает и (лукаво) говорит: Кое-кому дополнительные занятия были бы нелишни.

Да, говорит Нейтье, пятнадцатилетние мальчики все еще считают, что, бросаясь в нас лошадиными какашками, когда мы доим, выражают свою любовь.

Аутье смеется. Но мальчик, правда тебя любящий, специально промахнется, говорит она, или бросит не с такой силой.

Мейал и Саломея качают головами.

Саломея (ее слезы теперь в прошлом, она успешно затолкала их обратно в глазницы и заперла) заявляет, что больше всего мечтает о том, как в один прекрасный день мальчик специально промахнется, бросая в маленькую Мип лошадиные какашки.

Да, соглашается Мейал, о таком дне мечтает

каждая мать, такая надежда помогает нам пережить самые мрачные времена.

Но мальчики не смогут остаться в школе, возражает Мариша. Они обязаны работать на поле, ухаживать за животными. Их школа не в школе. Более того, добавляет она, если уйдут женщины и девочки, которые могли бы помогать мужчинам по хозяйству, пятнадцатилетние мальчики будут нужны больше, чем когда-либо.

При условии, что сельское хозяйство будет основным занятием оставшихся мужчин, говорит Оуна.

А что же, заклинаю Божью зеленую землю, это еще может быть? — спрашивает Мариша.

Оуна пожимает плечами. Есть ведь и другие способы существования в мире.

Не для них, возражает Грета. Они уж точно не ученые, наши мужчины.

(Я замечаю, как Аутье и Нейтье таинственно переглядываются.)

Агата размышляет на эту тему. Возможно, говорит она. Но есть и другие занятия, не только наука и сельское хозяйство.

И тут, поскольку я сам проговариваю Вергилия про себя, происходит нечто, показавшееся мне невероятным: Оуна цитирует стих, читанный

нам моей матерью в тайной школе. «Также и тот, кто отвал, который он поднял на пашне, станет распахивать вновь наклоненным в сторону плугом, кто, постоянно трудясь на полях, над ними хозяин» [6].

Я отрываюсь от протокола и улыбаюсь Оуне.

Это из Левита? — спрашивает Мариша.

Конечно, отвечает Оуна, и я делаю вид, будто мне что-то попало в горло.

Мейал большим и указательным пальцами тушит цигарку, несомненно, чтобы приберечь на потом. Кончики пальцев желтые — нет, рыжие.

Значит, говорит Мариша, Библия поощряет занятия сельским хозяйством. Тут все ясно. (Мне кажется, Мариша пристально смотрит на меня, хотя один глаз, после того как в него попал пробойник, мутный, подернут белой пленкой, поэтому не всегда понятно, куда она смотрит.)

Но еще, говорит Оуна, тут дан полезный образ.

Агата снисходительным кивком принимает маленький обман Оуны, но умоляет ее: Дорогая, мы сейчас пытаемся спасти наши жизни, поэтому…

Я знаю, говорит Оуна. Я пытаюсь помочь, образы могут быть полезны, и именно этот стих,

---

[6] Примечания: 6
«Георгики». Пер. С. Шервинского.

этот образ так ложится на мальчиков и мужчин Молочны, на…

Агата быстро кивает. Да, конечно. Пристально, с мольбой глядя Оуне в глаза, она кладет ладонь на руку дочери и повторяет, что надо двигаться дальше. Глаза у Агаты влажные, налиты кровью, розовые и красные прожилки расходятся от более темного центра — заходящих солнц.

Оуна больше ничего не говорит про образы.

Агата продолжает: Мы, девушки и женщины, думаем, уходить ли нам из колонии, но решили ли мы, чем займемся, как будем жить, обеспечивать себя, когда и если уйдем? Мы не умеем читать, не умеем писать, не умеем говорить на языке нашей страны, мы умеем только вести хозяйство, что где-нибудь в мире может от нас потребоваться, а может и не потребоваться, и коли уж речь зашла о мире, у нас нет его карты…

Хватит, в конце концов, про карту, перебивает Мариша.

Рискуя навлечь на себя гнев Мариши, я вмешиваюсь в разговор и говорю, что, возможно, смогу раздобыть для женщин карту мира.

Быстро? — спрашивает Оуна.

Я киваю.

Мариша фыркает, раздувает ноздри.

Грета закрывает глаза.

Агата распрямляется.

Нейтье спрашивает: Где?

В Хортице, отвечаю я.

Женщины напуганы и в один голос спрашивают меня, откуда в соседней Хортице взялась карта.

Этого я не могу открыть, ради их же безопасности, но, вполне возможно, смогу ненадолго ее одолжить, а Аутье и Нейтье, с их художественными способностями, скопируют на оберточную бумагу.

Всем, кроме Мариши, идея нравится.

Саломея спрашивает, не может ли в Хортице быть еще и карты региона. Было бы здорово, разумно замечает она, иметь очень подробную карту с помеченными, например, шоссе, второстепенными дорогами, реками и железнодорожными путями. Если такое вообще существует.

Верно, говорит Мариша. Мы не собираемся обходить всю планету.

А может, и собираемся, возражает Оуна, добавляя интересные сведения. Вы знаете, что у бабочек и стрекоз очень долгий период миграции и часто только внуки добираются до намеченной цели?

Рассказывая об этом, Оуна сияет. Она снова передает слова моей матери, в собственном изложении. Я хочу поблагодарить Оуну, обнять. (Нет, на самом деле я хочу подхватить ее и пуститься в пляс по сеновалу. Однажды в детстве за конюшней я взял Оуну на руки и смеясь бежал, пока она не попросила меня не сдавливать ей грудную клетку, а то у нее выскочит сердце.)

Аутье и Нейтье тоже улыбаются Оуне, хотя неясно, искренне ли радуются подробностям стрекозьей жизни, или просто выдался неплохой шанс широко поулыбаться и посмеяться. Я подозреваю, что, делая вид, будто их крайне забавляет представление о том, как маленькие стрекозьи внуки пересекают воображаемую финишную черту, оставив позади трупы предыдущих поколений, на самом деле смеются они над глупостью мальчиков-сверстников.

Мейал же, услышав любопытные сведения, кивает.

Саломея отгоняет муху от открытого рта дочери. Мип, лежа на потнике, раскинула руки и ноги.

А вы знали, спрашивает Оуна, глядя прямо на меня и широко улыбаясь, что у стрекоз шесть ног, но они не умеют ходить?

Я киваю, да. И еще, говорю я, ободренный

взглядом Ауны, у стрекоз многофасетные глаза, покрывающие почти всю голову, позволяя им видеть все сразу, даже самые мелкие, стремительные движения.

Некоторые женщины кивают и размышляют об этом. Аутье и Нейтье смеются.

Правда, взволнованно говорю я. Так и есть.

Я замечаю, что Агата и Грета меня не слушают, они вполголоса переговариваются, гадая, откуда в Хортице взялась карта мира.

Я шепчу Ауне: Есть такой человек, композитор, Джон Кейдж, он написал произведение, на исполнение которого требуется более шестисот лет. По одной ноте раз в несколько лет, а то и реже. Ноты берут на специальном органе в церкви одного городка в Германии.

Ауна шепчет в ответ: Правда?

Я: Да.

Ауна: Джон Кейдж — меннонит?

Я: Нет.

Ауна: Вот как.

Я: Ну, может, и меннонит.

Ауна: Да.

А женщины радостно смеются, представляя, как среагировал бы Петерс, узнав, что запрещенную карту мира прячут совсем недалеко от

Молочны.

Агата напоминает, как однажды в воскресенье Петерс тряс перед прихожанами руководством Эрнеста Тиссена по органическому сельскому хозяйству — уликой пагубного влияния мира. Старейшины наказали Эрнеста Тиссена, запретив ему общаться с членами общины в течение восьми недель. Все эти недели тот бродил по проселочным дорогам и спал в сбруйном сарае, пристроенном к конюшне. (Теперь Эрнест впал в маразм, помнит только про украденные часы — милость Божья, поскольку он забыл зло прежних путей и либо убежден, что Бог примет его в Свое царство, что преград нет, либо понятия не имеет, что Бог и Царство Божие вообще существуют.)

Мариша пытается вернуть нас к дискуссии и напоминает мне, что Саломея задала вопрос.

Может, в Хортице прячут еще и карту региона? — повторяет его Саломея.

Не исключено, осмеливаюсь предположить я.

Мариша спрашивает, не провезу ли я ее тайком из Хортицы вместе с картой мира, и я обещаю провезти, если она существует. Мариша благодарит меня! И признает, что мне все-таки можно найти практическое применение. В ее представлении контрабанда предпочтительнее учительства, хо-

тя и не столь почтенна, как крестьянский труд.

Но мы уже давно нашли Августу практическое применение, говорит Оуна. Кто, по мнению Мариши, объяснит нам карту, если не Август? Или неведомо для остальных Господь внезапно осенил ее познаниями в географии и картографии?

Мариша отмахивается от вопроса и, наклонив голову, изуродованным пальцем показывает на окно.

Оуна размышляет: Может, в пути женщинам удастся составить собственную карту.

Все, заинтригованные, смотрят на нее.

Грета говорит: Потрясающая идея… — и осекается, так как Оуну начинает рвать в ведро рядом. — Ах, schatzi, — говорит она.

Агата встает — до сих пор она держала ноги на куске дерева — и, подойдя к Оуне, гладит ее по спине, не давая выбившимся из-под платка прядям, попасть под струю.

Оуна поднимает голову и уверяет женщин, что с ней все в порядке.

Женщины кивают. Их внимание переключается на Мейал. Та, положив руку на грудь, тяжело дышит.

Это что еще? — говорит Грета.

Все нормально, Мейал? — спрашивает Агата.

Та с силой кивает.

У Мейал приступ, тихо объясняет мне Саломея. Она подходит к Мейал и тихо, неслышно шепчет ей что-то на ухо, держа за руку.

Остальные склоняют головы в молитве, прося Бога, чтобы приступ у Мейал прошел.

Мейал раскачивается на ведре, затем падает с него и совершенно неподвижно лежит на сене.

Саломея ложится рядом и продолжает неслышно шептать ей на ухо, держит ее. Женщины молятся.

Агата говорит: Отец Всемогущий, смиренно молим Тебя о Твоем неистощимом милосердии. Молим Тебя, будь милостив к сестре нашей Мейал. Молим, исцели ее в Твоем благоволении. Молим Тебя, покрой ее силой Твоей и вечной любовью и изгони болезнь, от коей она ныне страдает.

Женщины, склонив головы, находят разные слова во славу Отца нашего Небесного. (Я припоминаю, как мой отец за два дня до своего исчезновения сказал мне, что доступ к ковчегу веры стерегут два столпа — небылицы и жестокость.)

Саломея очень осторожно прикрывает Мейал уши, чтобы та не слышала молитв, и, попросив

Оуну скрутить для нее цигарку, продолжает неслышно шептать ей на ухо. Вид у Мейал становится здоровее, она уже не так неподвижна. Перестает дрожать. Дыхание нормализовалось.

Оуна скрутила цигарку и с извинениями дает Мейал. Она слабовата в самокрутках и хмурится, глядя на свое изделие.

Остальные женщины, склонив голову и держа друг друга за руки, продолжают молиться.

Мейал приходит в себя, они с Саломеей возвращаются к столу.

Слава Богу, говорит Агата.

Грета просит Аутье сбегать к колонке за водой, приготовить растворимый кофе, и та вылетает из-за стола. Нейтье тут же ласточкой мчится за подружкой. Они исчезают.

Саломея подбегает к окну и зовет Нейтье обратно на сеновал.

Мы слышим, как Нейтье кричит издалека: Зачем? Я помогаю Аутье!

Оставь ее, говорит Агата.

Но Саломея еще раз окликает Нейтье, затем молча смотрит в окно.

Нейтье возвращается на сеновал.

Агата явно раздражена на Саломею, но сдерживается.

Приступ у Мейал вызвало представление о том, как женщины будут создавать собственную карту, говорит Мариша. Неосознанный страх перед самостоятельным составлением карты, объясняет она, что значит: мы хозяева своей судьбы. Мы уйдем в непознаваемое пространство.

Да, говорит Агата, тут запаникуешь…

Мейал выпускает кольца дыма. Я не паникую, говорит она.

Да, говорит Агата. Правда, паника в данном случае была бы объяснима.

Но я не паникую, повторяет Мейал.

Агата смотрит в потолок.

После недолгого молчания Грета потчует женщин историей о том, что из-за травмы в паху целых три года могла ходить только пятясь, не вперед. (Воспоминание, догадываюсь я, навеяло представление о том, как женщины отправятся в путь, не зная, куда идти.)

Вскоре происходит нечто, отвлекшее Мейал от растерянности перед неизвестностью.

Нетти (Мельвин) Гербрандт снова поднимается по лестнице на сеновал, на сей раз неся младшего сына Мариши, Юлиуса Лёвена, который, похоже, безутешен.

Грета поднимает руки. Что еще, ради Бога?

Нетти (как я уже упоминал, после изнасилований она разговаривает только с детьми) сажает маленького Юлиуса Марише на колени и жестикулирует, указывая мальчику на нос и выражая, насколько я могу расшифровать, недоумение.

Агата спокойно спрашивает, может ли Нетти сделать исключение, в данных обстоятельствах быть благоразумной и, пожалуйста, что-нибудь сказать. Здесь на сеновале только женщины, подчеркивает она. (Я не шевелюсь.)

Пока Юлиус вопит на руках у Мариши, Нетти молчит, размышляя над просьбой Агаты.

Что случилось? — допытывается Мариша, перекрывая крик.

Нетти, говорит Агата, будь разумной. Что с Юлиусом?

В конце концов Нетти подает голос, но обращается к Юлиусу. Малышу, говорит она, попала в ноздрю вишневая косточка, а она не может ее вынуть, поскольку та заталкивается все дальше в нос.

Женщины реагируют немедленно. Они опять говорят все вместе, и я не могу вести записи.

Оуна засовывает два пальца в рот и свистит. (Какой чудесный навык! И практичный.)

Другие женщины замолкают и смотрят на нее.

У Оуны между глаз две еле заметные вертикальные складки, крошечные рельсы, ведущие к волосам, но исчезающие на полпути. Если Юлиус засунул вишневую косточку в нос, говорит она, значит, ел вишни или находился в непосредственной близости от них. У нас в Молочне вишен нет. Вишни, которые мы едим, всегда привозит из города в качестве угощения для членов общины кто-нибудь из старейшин, ездивший туда по делам.

Женщины молчат, осмысляя новость. Агата упирает взгляд в одну точку и цепенеет.

Саломея, проклиная все на свете, идет к окну.

Грета зовет Аутье. Та, возвращаясь от колонки, еще не дошла до лестницы на сеновал. Узнай, не вернулся ли кто из мужчин из города, говорит она. И если да, постарайся узнать кто.

А еще, кричит она вниз, если мужчины спросят, где их женщины, скажи, что Рут и Черил поздно жеребятся и возникли трудности!

Агата возражает. Мужчинам колонии известно, что Рут и Черил в прошлом году не покрывали, напоминает она, поэтому никто не ждал, что этой весной они будут жеребиться. Она кричит Аутье: Если спросят, скажи мужчинам, что их женщины на трудных родах сестры в Хортице!

Это встречает одобрение. Ни один мужчина колонии Молочна не будет вмешиваться в роды (или проявлять к ним интерес), особенно в какой-то там Хортице.

Агата еще просит Аутье надеть на голову платок.

Аутье и Нейтье лихо повязали платки на запястья, по моде девушек Молочны в отсутствие мужчин.

Теперь очередь Мариши кричать дочери: Скажи мужчинам, что мы стегаем одеяло, но ты не знаешь, в чьем доме, а работать нам до самой ночи — поздний и крупный заказ кооператива!

Примечание в пояснение: кооператив продает меннонитские товары туристам. Женщины Молочны поставляют их, но им запрещено ходить в кооператив и получать деньги от продаж.

Ну да, говорит Саломея, хорошая мысль. Никто из мужчин Молочны и близко не подойдет, когда женщины стегают одеяло. Она стоит у окна и следит за Аутье: Вот она идет, бежит.

Саломея отворачивается от окна и говорит Нейтье: Обеги дома, попроси женщин, если они столкнутся с мужчинами и если те спросят, говорить, что одни из нас работают до самой ночи над одеялом, а другие принимают трудные роды

сестры в Хортице. Мужчины захотят есть. Вели женщинам сказать мужчинам, если это наши мужчины, тех, кто здесь на сеновале, что мы оставили в кладовках судки с супом и хлеб. Мужчины утром опять уедут и поймут, что мы не сможем их проводить, так как всю ночь напролет выполняем заказ и оказываем помощь.

Нейтье уходит не сразу. Саломея подгоняет ее: Ну, иди!

Нейтье лениво встает с ведра, молча потягивается, поправляет волосы; в конце концов Саломея приходит в бешенство и кричит: Нейтье!

Мариша уже достала вишневую косточку из носа Юлиуса, высосала губами, как удаляют яд от укуса змеи или незаконно откачивают газ из полицейской машины, и Юлиус радостно жует гнилой кусок кожи от старой уздечки, некогда бывшей частью упряжи Эрнеста Тиссена. Агата говорит Нетти, что та может идти, вернуться к другим детям. Юлиус пока останется здесь.

Но Мариша просит Нетти на минутку задержаться. Где Юлиус взял вишни? — спрашивает она. — Это Клаас? (Муж Мариши.)

Нетти, пребывая в некой прострации, снова отвечает Юлиусу, глядя только на то, как он играет и жует. Она рассказывает, что Юлиус и пара ре-

бят постарше были во дворе и один, скорее всего Бенни Айдсе, заметив на дороге повозку, подбил остальных, в том числе Юлиуса, сидевшего на спине сильного мальчика, пойти посмотреть. А вернулись они с бумажным пакетиком вишен, передавая его друг другу, и одна косточка попала Юлиусу в нос.

Мариша спрашивает Нетти: Так ты не знаешь, кто сидел в повозке?

Нетти отвечает Юлиусу: Не знаю.

Я беспокоюсь из-за женщин, которые решили не делать ничего (в ответ на изнасилования), говорит Мейал. Если мужчины вернулись, как бы они не проговорились, что мы затеваем бунт.

Мариша хмыкает. Не бунт, неправильное слово.

Саломея раздраженно вздыхает. Мариша, ты все время мешаешь ходу наших собраний, строишь из себя знатока тут, там, да вообще везде, вечно что-то выдумываешь, говоришь глупости. И если тебе никто не возражает, ты уверена, что права. А когда кто-то против, истеришь.

Нет, перебивает Мариша. Это ты, Саломея, а может, и еще кое-кто из Фризен, вечно молишься на точный, безупречный язык, на правильное слово. Так вот в данном случае слово «бунт» явно

неправильное, поскольку бунт подразумевает насилие, а то, что планируем мы, женщины Молочны, насилия не подразумевает.

Оуна умоляет женщин сохранять спокойствие. Надо продолжать собрание, говорит она. И Мариша права, слово «бунт» неверно описывает наш план. Мы найдем соответствующее название, когда разработаем его в деталях. И она возвращается к мысли Мейал: как бы женщины, решившие не делать ничего, не рассказали о нас мужчинам. Конечно, они не станут грешить ложью, говорит Оуна. Нам просто придется поверить: дабы не согрешить против истины, если их спросят, где мы, они скажут, что не знают, или ловко, но благочестиво уйдут от ответа.

(Я заставляю себя молчать, не укорять, не возражать, не лишить в своем высокомерии Оуну ее доверчивости, не подать ни единого признака, как меня волнует предательство, темные души, в частности Янц-со-Шрамом. И молча молю Бога простить мои прегрешения, мои подозрения и напитать меня той же верой, какую Оуна имеет к своим сестрам по общине, ко всем нам, к добру.)

Оуна продолжает и говорит: Я боюсь, как бы мужчины, ненадолго вернувшись в Молочну, не взяли лошадей и/или скотину, ведь они могут по-

том понадобиться женщинам либо для продажи, либо как помощь в дороге.

В дороге? — спрашивает Мариша. — Я не знала, что мы уже решили вопрос, оставаться или уходить. Насколько мне известно, мы решили только, что женщины не животные. Однако даже к такому выводу пришли не единодушно.

Да, правда, признает Оуна, мы не приняли окончательного решения уходить. Но если все-таки уйдем, нам понадобится возможно больше животных.

А как мы можем запретить мужчинам забрать их, если они для этого и вернулись? — спрашивает Грета у Оуны.

У Оуны есть предложение: А если через Нетти (та еще не ушла с сеновала) передать, что животные после отъезда мужчин в город заболели и их поместили на карантин?

Нетти не разговаривает со взрослыми, напоминает Мейал Оуне.

История про карантин, добавляет Мариша, еще одна ложь, серьезное прегрешение. Мы не только совершим грех *лжи*, говорит она, но и научим дочерей. А если мы еще начнем подстрекать на ложь Нетти, то согрешим вдвойне: введем в соблазн дурочку.

Саломея поднимает руку. Нетти не «дурочка», заявляет она. Ее необычное поведение, то, что она называет себя мужским именем и говорит только с детьми, — объяснимая реакция на долгое и особо страшное изнасилование.

Мы все пострадали, говорит Мариша.

Конечно, отвечает Саломея, но реакции у нас разные, и одну нельзя считать более правильной, а другую — менее.

Мариша отметает возражение и продолжает развивать свой тезис. Разумеется, говорит она, побуждение других ко лжи ради нас — более тяжкий грех, чем собственная ложь. И простить нам ложь (про местонахождение женщин, про одеяло, помощь при родах и т. д.) могут только старейшины, кому мы солжем и кого, если наш план уйти станет реальностью, никогда больше не увидим, поэтому мы останемся непрощенными, без надежды на милосердие, с черными сердцами, лишив себя возможности войти в Царство Божие.

Поди, найдутся другие старейшины или люди Божьи, говорит Грета, которые смогут простить нам наши грехи, те, кого мы еще не знаем.

При этих словах Саломея взрывается и кричит, отчего Мип просыпается, а Юлиус перестает

жевать кожу. Не нужно нам прощение людей Божьих, кричит она, за то, что мы защищаем наших детей от богомерзких действий развратных мужчин, у кого еще, оказывается, и прощения должны просить! Если Бог — любовь, Он Сам простит нас! Если Бог мстителен, то Он создал нас по Своему образу и подобию. Если Бог всемогущ, то почему Он не защитил женщин и девочек Молочны? Если Бог в Евангелии от Матфея, по словам Петерса, нашего мудрого епископа, говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне», — то разве мы не должны считать таким препятствием, когда наших детей насилуют?

Саломея умолкает, возможно, чтобы передохнуть…

Нет, не передохнуть. Она продолжает кричать, что уничтожит все живое, если оно дотронется до ее ребенка, разорвет на части, надругается над телом и заживо закопает в землю. Она возопиет к Богу, и пусть Он громом ее поразит, если она согрешила, защищая своего ребенка от зла, более того, уничтожив зло, чтобы оно не поразило других. Она будет лгать, охотиться, убивать, плясать на могилах и вечно гореть в аду, прежде чем позволит еще какому-нибудь мужчине удовлетворить свои насильнические желания телом ее

трехлетней дочери.

Нет, мягко говорит Агата, не надо плясок. Не надо надругательств.

Мип начинает плакать, а маленький Юлиус, не зная, что делать, смеется, глаза — крошечные жемчужинки — блестят.

Как Саломея раньше подходила к Мейал, так Мейал сейчас идет к Саломее и обнимает ее.

Оуна берет Мип с потника и поет ей песню про уток. (Помнит ли она, какое счастье и утешение дает мне кряканье уток?)

Агата, если не считать того, что шепотом велит Нетти вернуться к детям, молчит. Грета и Мариша тоже молчат.

Нетти спускается по лестнице.

Мы/я слышим только голос Оуны. Во время пения она раззадоривается, ускоряясь подобно рыбе, что изгибает тело и устремляется вперед, и замедляясь подобно рыбе, греющейся на солнце у поверхности воды. Дети, увлеченные песней, сидят тихо. Оуна продолжает петь песню про уток, плавающих в море, — утка раз и утка два, утка три-четыре.

Оуна спрашивает у детей, известно ли им, что такое море, и они смотрят на нее в четыре огромных голубых глаза, похожих на море. Оуна

описывает море — другой, скрытый от нас мир, мир под водой. Морем она называет именно жизнь в море, не само море. Она рассказывает о рыбах и других живых существах.

Наконец Мариша ее перебивает. Море — это когда очень много воды, больше ничего, говорит она детям. Оуна, перед тобой дети, растолковывает она. Как они могут понять то, что происходит невидимо? Да и сама ты никогда не видела моря.

Саломея смеется: Жизнь под водой не невидима. Ее можно видеть. Только нам отсюда не видно. О Господи.

Ты не понимаешь, Саломея, как восприимчивы дети, говорит Мариша.

Вот оно как! — восклицает Саломея. — Если бы я позволяла такому, как твой Клаас, у которого дерьмо вместо мозгов, бить моего ребенка до черных синяков, ты бы решила, что я разбираюсь в том, как дети воспринимают потайную жизнь?

Мариша, потрясенная, молчит.

Саломея, это не имеет никакого смысла, говорит Мейал и дает ей затянуться цигаркой.

Оуна молчит, но она согласна, сочтя выходку Саломеи непонятной и недостойной ее, я знаю. Знаю, потому что она посмотрела на Саломею как раньше, нахмурив брови (исчезающие на лбу

рельсовые пути). В общем-то, Оуна терпимо относится к вспышкам гнева сестры и реагирует на них с оглядкой. Возможно, за долгие годы поняла, что борьба ни к чему хорошему не приведет.

Будто читая мои мысли, Агата предлагает подумать о том, что приведет к хорошему, и цитирует Послание к Филиппийцам: Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте… и Бог мира будет с вами.

Остальные женщины ждут, кто первой ответит на призыв Агаты предложить истинное и честное. По правде сказать, затея их, кажется, не очень увлекает.

Саломея вообще игнорирует вопрос. Если я останусь, то стану убийцей, говорит она матери. (Я думаю, она хочет сказать, если останется в колонии и будет здесь, когда и если арестованные выйдут под залог и вернутся из города.) Что может быть хуже? — спрашивает Саломея Агату.

Агата кивает. Кивает. Губы поджаты, она моргает и кивает. Руки лежат на столе, но пальцы подняты вверх, тянутся к балкам сеновала, к Богу, к смыслу.

Остальные молчат. Необычно.

В альбоме «Знаменитые картины», оставленном в кооперативе одним швейцарским туристом, я видел «Сотворение Адама» Микеланджело. Мой отец тайком показывал репродукцию общине, но Петерс-старший в один прекрасный день обнаружил альбом и уничтожил его. Говорят, он вырывал страницы по одной и сжигал их по очереди, скорее всего для того, чтобы посмотреть каждую картину. Более занятой человек с более ясными намерениями поджег бы все сразу и бросил в бак.

Женщины всё молчат — жутковато.

Я упоминаю альбом со знаменитыми картинами только потому, что пальцы Агаты подняты к Богу. Они почему-то напоминают мне «Сотворение Адама». А поскольку на сеновале царит молчание, я же хочу произвести деловой вид и мое дело здесь писать, это как раз то, что можно записать, — мою первую мысль.

Женщины хранят молчание, думая о том, что есть добро, что справедливо, чисто, любезно и т. д. А возможно, о чем-то еще. Я не знаю, о чем. Может, о поджоге. Думая о «Сотворении Адама», я вспоминаю еще кое-что, о человеческих пальцах.

Человеческие пальцы способны осязать пред-

меты размером в тринадцать нанометров, то есть если бы ваш палец был размером с землю, вы ощутили бы разницу между конюшней и лошадью. Я хочу запомнить, чтобы рассказать потом Оуне. Еще я хочу рассказать ей о «Сотворении Евы» Микеланджело (пятая фреска Сикстинской капеллы), которая даже близко не так известна и популярна, как «Сотворение Адама». В «Сотворении Евы» Адам спит на камне, а обнаженная Ева о чем-то молит Бога. О чем? Тут Бог спустился на землю, Он больше не парит на облаке, просто протягивая палец. На сей раз Бог строг, напряжен. Он пришел на землю поговорить с Евой… или пришел по ее просьбе? Почему Он сошел со Своего облака с ангелами?

На фреске Ева взывает к Богу, просит, умоляет… возможно, что-то доказывает, как будто в ее силах восстановить христианство в первоначальном величии. Она действует за спиной спящего на земле Адама, художник словно подразумевает, что Ева знает: Адам ее не одобрит. Не одобрит что? Ее встречу с Богом с глазу на глаз? Или ее слова?

Еще кое-что про кооператив: к его южной стене прикреплена выцветшая фотография. Ее сделал и опубликовал в английской газете «Гардиан» профессиональный фотограф, много лет назад

приезжавший в Молочну посмотреть на меннонитов. Именно он заронил моему отцу мысль об Англии. На фотографии изображены несколько юношей и девушек общины. Подпись: «Перед сном меннониты любят поболтать под звездами».

На фотографии мы видим меннонитских девушек, сидящих в вечерней темноте на пластиковых стульях под невероятно звездным небом. Такое впечатление, будто над участницами беседы только что произошла катастрофа, но ее пока никто не заметил. Небо начинает приобретать горчично-желтый оттенок. На заднем плане разговаривают двое мужчин. Видно также две повозки и двух лошадей. Еще дом, дерево, силосную башню. Одна из девушек — Оуна. Юная, худенькая, она наклонилась вперед, чтобы лучше расслышать подруг. Длинные пальцы сжимают подлокотники пластикового стула, она будто готова броситься вперед, а может, взмыть вверх, в желтое небо.

Оуна, разумеется, не видела фотографии, но мне хочется когда-нибудь ей рассказать. После изнасилований в кооператив приезжало множество фотографов со всего мира, интересующихся, как доехать до колонии. Петерс запретил с ними

разговаривать. Хайнц Гербрандт, кузнец, чья кузница располагалась рядом с кооперативом, как-то сказал мне в церкви, что в кооператив по почте пришла вырезка из одной американской газеты. Ее бросили у кузницы, поскольку дверь в кооператив оказалась заперта. Хайнц Гербрандт отправился с письмом в кооператив. Он вспоминал, как держал его подальше от себя, будто что-то горячее, опасное. Заголовок гласил: «Девушкам и женщинам колонии Молочна явился дьявол в образе семи призраков». Хайнц Гербрандт говорил, что Петерс, увидев вырезку, покивал. Да, сказал он, по словам Хайнца Гербрандта. Именно. «Пустые люди в пустоте берут их, насильничают, держат в чистилище, вот вы и получили».

Я спросил Хайнца Гербрандта, действительно ли Петерс так сказал. Тот подтвердил, что Петерс говорил ему это со слезами на глазах, когда они перестилали церковную крышу.

Но тогда как он может оставаться епископом Молочны? — спросил я у Хайнца.

Тот покачал головой. Не знал. И предложил разобраться во фразе: «Пустые люди в пустоте берут их, насильничают, держат в чистилище, вот вы и получили».

Мы с Хайнцем стояли на дороге, ведущей из

Молочны к границе, и снова и снова шептали слова Петерса, стараясь понять, что он имел в виду. Или почему произнес их со слезами на глазах. Или зачем вообще произнес.

Хайнц Гербрандт уехал из Молочны, забрав с собой жену и детей. Говорят, испугался, услышав слова Петерса о том, что к девушкам и женщинам Молочны в самом деле приходил дьявол. Говорят, Хайнц Гербрандт оказался в недостаточной степени мужчиной или в недостаточной степени верующим, чтобы принять правду. Говорят, он легко впадает в уныние и мир разрушит его. Петерс официально отлучил Хайнца Гербрандта, но всем прекрасно известна никчемность его решения, поскольку тот ушел из церкви и из колонии по собственному желанию.

Когда-то Хайнц Гербрандт подарил мне подкову. Утверждают, подкова приносит удачу, сказал он. В Молочне удачи не бывает. Верить в удачу — грех. Плакать стыдно. На все воля Божья, и в мире Божьем ничто не происходит по воле случая. Если Бог создал мир, почему нам в нем не быть?

Я запомню Хайнца Гербрандта.

Женщины молчат. Оуна подходит к моему месту и смотрит мне через плечо. Почему она кладет руку мне на плечо? Пока я пишу, она смотрит на

меня. Ручка у меня дрожит. Она не умеет читать, поэтому я могу написать слова: «Оуна, моя душа принадлежит тебе», и она не узнает. Оуна нарушает молчание. Август, говорит она, я знаю, что это такое (она показывает на буквы). Буквы. А вот эти маленькие штучки?

Запятые, говорю я ей, они означают маленькую паузу, или вдох, в тексте.

Оуна улыбается, затем делает вдох, будто беря слова обратно, возвращая в тело, может, чтобы передать слова, рассказ — свой рассказ — нерожденному ребенку… Больше она ничего не говорит, и я бьюсь, как лучше ответить.

А ты знала, спрашиваю я, что есть бабочка, которая по-английски называется comma, «запятая»?

Оуна ахает.

Такая странная реакция, так забавно.

Правда? — спрашивает она.

Да, говорю я, она так называется, потому что… Но Оуна останавливает меня.

Нет, говорит она, дай угадаю. Потому что она перепархивает с листа на стебель, потом на лепесток, лишь ненадолго останавливаясь? Потому что ее путь — ее история, и она никогда не прекращается, всегда движется, останавливаясь

лишь ненадолго.

Я улыбаюсь и киваю. Точно, говорю я, именно поэтому!

Оуна бьет себя по ладони: Вот! И возвращается на место.

Но это не так, бабочка получила свое название вовсе не поэтому. Конечно, в текстах и в путешествиях есть паузы. Остановки. Истинная причина, банальная, в том, что нижняя часть крыла бабочки по форме напоминает запятую.

Сейчас я не понимаю, почему позволил Оуне думать по-другому, но, возможно, когда-нибудь пойму.

* * *

Ага, женщины зашевелились, вышли из задумчивости. Сейчас я продолжу вести протокол.

Слово берет Агата.

Саломея, говорит она, нет ничего хуже, чем быть убийцей. Если ты не хочешь стать убийцей, оставшись в колонии с мужчинами, виновными в изнасилованиях, и с теми, кто внес немалый залог, позволяющий насильникам в ожидании суда вернуться домой, тогда, чтобы защитить свою душу и удостоиться Царства Небесного, надо уходить.

Мариша, недовольная рассуждениями Агаты, хмурится. Не все тут убийцы, возражает она.

Пока нет, говорит Оуна.

Агата кивает. Мариша, спрашивает она, ты когда-нибудь думала убить кого-нибудь из насильников или их всех?

Нет, говорит Мариша. Какая чепуха.

Ты когда-нибудь желала им смерти? — спрашивает Агата.

Мариша признается, да, желала, но тут же просит у Бога прощения.

И как ты считаешь, если бы мужчины были рядом, твои мысли об убийстве участились бы? — не унимается Агата. — Если бы ты видела их каждый день, если бы они повелевали тобой и твоими детьми, а Петерс приказывал тебе им подчиняться?

Да, говорит Мариша, по-моему, да, в такой ситуации мысли об убийстве участились бы.

Ага, говорит Саломея, значит, ты все-таки думаешь об убийстве.

Нет, говорит Мариша, я же тебе сказала. Я только хотела их смерти.

И поэтому нам надо уйти, заключает Агата.

Некоторые, включая Маришу и Грету, открывают рты, чтобы возразить, Грета еще поднимает

руки.

Но Агата продолжает: Я сделала то, чему учит стих из Послания к Филиппийцам, а именно: помыслила о том, что честно, что справедливо, что чисто и что любезно. И нашла ответ: миролюбие. Миролюбие, говорит Агата, любезно. Никакое насилие не имеет оправдания. Оставшись в Молочне, говорит она, мы, женщины, нарушили бы главный принцип меннонитского вероучения, каковым является миролюбие, поскольку прямо и осознанно столкнулись бы с насилием, исходящим от нас или направленным против нас. Мы открыли бы дверь злу. Оказались бы в состоянии войны. Превратили бы Молочну в поле сражения. Оставшись в Молочне, мы стали бы плохими меннонитами. Согласно нашему вероучению, мы стали бы грешниками и преградили бы себе путь на небеса.

Мейал глубоко затягивается цигаркой, потом выдыхает и кивает. Агата права. Тогда надо пошевеливаться, говорит Мейал.

Но, оставшись и вступив в борьбу, возражает Мариша, мы, надеюсь, добьемся мира для наших детей. В конечном счете. И наша колония пребудет в целости, и мы пребудем вдали от мира, а не в нем — еще один из главных принципов нашего

меннонитского вероучения.

Это так, говорит Агата, но наше вероучение не требует пребывать вдали от мира вместе с мужчинами, вселяющими в наши души и умы мысли о насилии.

Ты действительно хочешь сказать, что собираешься остаться и НЕ сражаться? — спрашивает Оуна у Мариши. — Напомни, когда у тебя в последний раз хватило сил восстать против грубости Клааса, защитить детей или сойти с пути зла?

Мариша в бешенстве. Она встает, губы поджаты, глаза горят. Кто ты такая, кричит она Оуне, чтобы указывать, какой мне быть женой и матерью, когда сама ни то, ни другое? Кто ты такая, ты, фантазерка, глупая всезнайка, старая дева, безумная баба, наказанная нарфой, сумасшедшая!

Я пишу быстро, как только могу, но не успеваю за Маришей. Она еще называет Оуну шлюхой, матерью-одиночкой.

Теперь уже с ведра поднимается Саломея. Она кричит Марише, что Оуну вырубили и изнасиловали, как многих других, поэтому она ждет ребенка. Как смеет Мариша называть Оуну шлюхой? Бог, творя мир, погрузил Адама в глубокий сон и, пока тот спал, вынул у него ребро и сотворил Еву. Так Адам был шлюхой?

Мариша кричит в ответ: Адам был мужчиной!

Саломея, не обращая на это внимания, кричит дальше: Так Адам сам все устроил? Смог он себя защитить?

(В скобках, чтобы потом подумать: с учетом пересекающегося по смыслу примечания, написанного мною выше по поводу фрески Микеланджело, меня заинтересовал аргумент Саломеи.)

Саломея продолжает кричать, голос хриплый. Ты не боишься, Мариша, что твой расчудесный Юлиус станет таким же чудовищем, как его отец, так как ты ничего не делаешь для его защиты, ничего, чтобы воспитать его, объяснить преступные, развратные пути отца?…

Агата, хромая (отечность еще дает о себе знать), идет к Саломее. Она легонько подталкивает дочь обратно к ведру, гладит ее по голове, бормочет какие-то слова, я не могу разобрать. Одной рукой Агата гладит Саломею по волосам, а другой с тихим цоканьем трет себе глаза.

Саломея мягко отводит ее руку от глаз. Не надо, говорит она. Такой звук. Ты слишком сильно трешь.

Агата улыбается. Нежность.

Саломея сумасшедшая, говорит Мариша. Все ее слова — полное безумие. И, повернувшись к

Оуне, добавляет: Как ты смеешь судить меня?

Оуна выдерживает взгляд Мариши и улыбается. Я не судила, говорит она, это был вопрос.

Агата, наклонившись, шепчет что-то Оуне.

Оуна извиняется перед Маришей. Та грубо предлагает ей кое-чем заняться. (Я не могу здесь повторить. Отмечу лишь, что Мариша на ломаном английском еще сказала Оуне «отъеби». Не многое из внешнего мира проникает в Молочну, но ругательства, как и боль, всегда находят дорогу.)

Мариша! — восклицает Грета. — Сядь и помолчи.

Мариша с шумом садится.

Мейал и Саломея курят одну цигарку, похоже, ждут, когда уляжется.

Агата продолжает гладить Саломею по голове и рукам. Опять с тихим цоканьем трет глаза.

Саломея хмурится и повторяет: Мама, не надо.

Мариша молчит.

Нейтье шепчет: По-моему, надо говорить «отъебись».

Остальные кивают.

Оуна еще раз извиняется и добавляет, что тоже думала над Посланием к Филиппийцам и о том, что истинно. Свобода — истинно, говорит она.

Лучше, чем рабство. И прощение — истинно, лучше, чем месть. И надежда на неизвестное — истинно, лучше, чем ненависть к известному.

Мариша странно спокойна. Она искренне, не ядовито спрашивает у Оуны: А как же безопасность, надежность, дом, семья? А святость брака, послушания, любви?

Я тут ничего не понимаю, ни про что из перечисленного, отвечает Оуна. Кроме любви. И даже любовь, говорит она, для меня загадка. И я считаю, мой дом там, где моя мать, сестра и нерожденный ребенок, где угодно.

Мариша спрашивает: А ты не будешь ненавидеть нерожденного ребенка? Ведь он (или она) от мужчины, который внушает тебе мысли о насилии?

Я уже люблю этого ребенка больше всего на свете, отвечает Оуна. Он (или она) невинен и прекрасен, как вечернее солнце…

Оуна смотрит на меня. Я задерживаю дыхание и чешу затылок, молю о прощении, но за что или за кого… О, мигающий свет…

И таким же, говорит Оуна, был его отец, когда родился.

Подождите, говорит Мейал, я не согласна. Тот мужчина родился злым. Бог привел его в мир,

чтобы испытать нас, испытать нашу веру.

Саломея усмехается. Разве не ты, Мейал, несколько месяцев назад говорила, что все насильники действовали по наущению дьявола? Так кто же? Или для тебя Бог и дьявол одно и то же?

Мейал закатывает глаза и говорит: О блин, не знаю.

Я больше не хочу слышать такие слова, устало говорит Грета.

Агата тихо стонет. Плачет? Нет, не плачет. Она слишком сильно терла глаза, как и говорила Саломея, ей больно.

Мариша опять спрашивает, по-прежнему спокойно: Вот Оуна говорит, что прощение истинно, лучше, чем месть. Значит, нам надо простить мужчин Молочны, особенно насильников, а мстить ради справедливости как раз не надо. Но если так, разве нельзя остаться в Молочне и простить мужчин?

Но мужчины Молочны, и особенно насильники, не просили прощения, напоминает Саломея.

Да, говорит Мариша, но Петерс потребует, чтобы попросили. И тогда, дабы не грешить против Бога и не подвергаться риску отлучения и изгнания, нам придется их простить!

Грета кладет голову на стол рядом с зубами. (Мышь, та же, что и раньше, или другая, идет по сеновалу. Почему вас так много и куда вы все идете?)

Прощение вряд ли действительно, если оно не от сердца, говорит Оуна. Мы должны лишь защитить данные нам Богом души. Найти в сердце силы простить мужчин Молочны, вне зависимости от того, чего от нас потребует Петерс или еще кто, даже если мужчины сами не попросят прощения, даже если до гробовой доски будут твердить, что невиновны.

Значит, ты полагаешь, поддержание состояния души важнее покорности Богу? — уже не так спокойно спрашивает Мариша.

Вообще-то это одно и то же, твердо говорит Оуна. Я думаю, моя душа, моя сущность, моя неосязаемая энергия и есть присутствие во мне Бога, и, умиротворяя душу, я славлю Бога. Если я в состоянии понять, как могли произойти преступления, то могу простить мужчин. И почти могу — на расстоянии, конечно, — жалеть их и любить. Любовь истинна и лучше, чем отмщение.

Мариша снова вскакивает. Оуна — идиотка, неистовствует она. Все, что она говорит, смехотворно, кощунственно, безнравственно.

Усталая Грета поднимает голову, а потом и руки, хотя не так высоко, как раньше. И опять просит Маришу сесть.

Слово берет Агата. Оуна, говорит она, ты права. Ты сказала, что на расстоянии, разумеется, все возможно: прощение, сострадание, любовь. Чего требует от нас меннонитская вера. И поэтому нам в самом деле надо уйти, чтобы отдалиться на то расстояние, о котором говорила Оуна. Наверное, можно говорить о перспективе. Новой перспективе, рациональной, разумной и вместе с тем любящей, смиренной, в согласии с нашей верой, все сразу. Долг велит нам уйти. Нет возражений? Что это можно назвать перспективой и она появится у нас на определенном расстоянии?

Не бороться, а идти вперед, говорит Оуна. Все время идти. Вообще не бороться. Просто идти. Все время идти. Оуна будто впала в транс.

Мариша просит Оуну перестать.

Это ты перестань, Мариша, говорит Саломея.

Все вы перестаньте и сосредоточьтесь, говорит Мейал. С ума посходили? Она тычет в окно, на солнце, которое заходит.

Грета, выпрямив спину, начинает рассказывать еще одну историю о своих лошадях, Рут и Черил.

Кто-то стонет, но она не обращает внимания.

Когда-то, рассказывает Грета, она боялась дороги между Молочной и Хортицей. Дорога узкая, а канавы по обе стороны глубокие. И успокоилась она, только научившись смотреть не себе под нос, а далеко вперед. Раньше, говорит Грета, повозка виляла и страшно кренилась. Рут и Черил слушались ее вожжей, но сами команды были непоследовательные, беспорядочные, лихорадочные, опасные. Уйдя, мы приобретем более широкую перспективу, необходимую, чтобы простить, то есть правильно любить и сохранять мир в согласии с нашей верой. Поэтому наш уход не станет проявлением трусости, бегства, неповиновения или бунтарства. Мы уходим не потому, что нас отлучили или изгнали. Он будет высшим проявлением веры. И веры в неиссякаемое милосердие Божие.

А то, что мы разрушим наши семьи? — спрашивает Мариша. — Заберем детей у отцов?

Наш долг — перед Богом. (Агата)

Именно, перед нашими душами, где явлен Бог. (Оуна)

Оуна, дай мне закончить. (Агата) Наш долг — защищать создания, созданные Им, то есть нас самих и наших детей, а также свидетельствовать о вере. Вера требует от нас полного миролюбия,

любви и прощения. Оставаясь, мы рискуем не обрести их. Мы будем воевать с насильниками, так как признали: по крайней мере, некоторые из нас хотят их убить. Наше прощение, если мы останемся, неизбежно будет вынужденным, неискренним. Уйдя, мы скорее достигнем того, чего требует от нас вера: миролюбия, любви и всепрощения. И научим детей. Уйдя, мы научим детей тому, что они должны стремиться к этим ценностям усерднее, чем выполнять требования отцов.

Это не кощунство? — упорствует Мариша.

Остальные молчат.

Ладно, мы уйдем, продолжает Мариша. А с нравственной точки зрения? Нас не в чем упрекнуть? Мы действовали в соответствии с Божьей волей. Но что будет, когда мы проголодаемся? Или испугаемся?

Голод и страх, отвечает Оуна, у нас общие с животными. Может ли страх голода и страх страха быть нашим проводником?

Мариша хмуро смотрит на Оуну. О чем ты говоришь? Конечно, нам нельзя забывать ни о голоде, ни о страхе.

Мейал поднимает руку.

Просто говори, велит Грета. Она бледная, у нее

измученный вид.

Мейал тактично вспоминает Рут и Черил. Смогли бы лошади сами увидеть более широкую перспективу, смотреть вдаль, а не на дорогу прямо перед собой, если бы человек не управлял поводьями? Поняли бы они, как не свалиться в канаву, если бы их не направляла человеческая рука?

Почему ты спрашиваешь? — вступает Саломея. — Ты полагаешь, что, следуя врожденным животным инстинктам и руководствуясь страхом и голодом или боязнью свалиться, мы каким-то образом обретем перспективу и достигнем мира?

Мейал зевает. Я только спросила, только подумала вслух, говорит она.

Но Саломея не отступает. Да, правда, голод и страх у нас общие с животными, как заметила Оуна, но не разум, который позволяет нам устанавливать перспективу или расстояние, чтобы лучше оценить положение дел.

Нет, говорит Мариша, это тоже неправда. Животные и даже насекомые прекрасно видят перспективу. Разве не та же Оуна рассказывала о способности стрекоз к долгосрочному планированию? Разве они могли бы мигрировать, не зная, а если не зная, то инстинктивно понимая, что сами

не доберутся до цели, но потомки доберутся?

Ладно, говорит Саломея, мы не знаем, что думают стрекозы и думают ли они вообще. Вряд ли тут можно говорить о перспективе.

Почему же? — спрашивает Мариша.

Потому что слово, наверно, неправильное, отвечает Саломея.

А какая разница? — спрашивает Мариша.

Большая, отвечает Саломея.

Мариша вдруг меняет тему и, обратившись ко мне, спрашивает, что я писал, когда женщины молчали. И зачем вообще писал, если мое дело — переводить слова женщин на английский и записывать на бумагу перевод?

Я не совсем понимаю, отвечаю я (испуганно, смущенно).

Но Мариша недовольна. Ты что-то писал, когда мы не говорили. Что?

Я отвечаю: Я писал про фотографию, которую видел в кооперативе, и про фреску Микеланджело.

Мариша кивает. С одобрением? Упреком? (Ага, с упреком.)

Вся семейка такая, говорит Мариша.

Мейал спрашивает меня: Какая фотография?

Я не знаю, как ответить.

Снова выручая меня, слово берет Оуна. Ей только что пришло в голову, говорит она. Можно было бы рассмотреть еще один вариант, не уйти, не остаться и бороться и не ничего не делать.

Время уже позднее предлагать еще один вариант, замечает ей Мариша.

Грета отмахивается от нее и жестом велит Оуне высказаться.

Можно попросить уйти мужчин, говорит та.

Это шутка? — спрашивает Мариша.

Саломея неожиданно соглашается с Маришей. Оуна, ты с ума сошла? — спрашивает она.

Может, мы все сошли с ума, отвечает Оуна.

Конечно, мы все сошли с ума, говорит Мейал. Как не сойти?

(Мне хотелось бы еще вернуться к этому комментарию, но сейчас надо поспевать.)

Агата отметает тему сумасшествия и возвращается к исходному предложению Оуны: Попросить уйти мужчин? Ты про насильников и старейшин, которые за их возвращение?

И про Петерса, конечно, говорит Оуна.

Грета поднимает руку. Невозможно, говорит она. Представьте себе реакцию мужчин на просьбу уйти из колонии. Какой довод тут можно привести?

Да все, о чем мы говорили, отвечает Оуна. Что для соблюдения основ нашего вероучения мы должны стремиться к миру, любви и прощению. Что пребывание рядом с мужчинами ожесточает наши сердца по отношению к ним, порождает ненависть и насилие. Что, желая по-прежнему быть (или снова стать) добрыми меннонитами, мы должны разделить мужчин и женщин, пока не найдем (или не вспомним) праведный путь.

Но как могут мальчики и мужчины Молочны, говорит Мариша, приобрести новые привычки и научиться иначе обращаться с девочками и женщинами, если в колонии не останется девочек и женщин, на ком можно практиковаться! Уйдя, продолжает она, мы лишим наших мальчиков и мужчин возможности перевоспитания. Что безответственно.

Оуна молчит и выписывает руками круги, как будто в этих шарах заключается вселенная. Интересно, Мариша, говорит она потом, ты высказала правильную мысль.

Пожалуйста, назвав одно мое высказывание интересным, не говори, что все остальные нет, фыркает Мариша.

Оуна смеется. Я о другом, говорит она.

Вмешивается Саломея. Не наше дело воспиты-

вать мальчиков и мужчин Молочны, говорит она. Это задача для Августа. (!)

Но, может быть, как раз наше, возражает Мейал. Особенно если мальчики — наши сыновья, а отцы воспитать их неспособны.

Грета заявляет: Только не говорите мне, что мы рассматриваем вариант остаться с целью научить мальчиков и мужчин Молочны вести себя по-человечески! Мы их усадим на парты?

Агата (снова положив руку на грудь) успокаивает женщин. Нет-нет, говорит она.

Оуна шепчет: Не на парты, а за парты.

Саломея смеется. Достанем ремни, говорит она, и нахлобучим на них колпаки двоечников.

Нет, Саломея, протестует Оуна. Это противоречит цели обучения миролюбию.

А что такое колпак двоечника? — спрашивает Мейал.

(Я сижу как на иголках, надеясь, что Оуна не заговорит опять о сыне Мариши Юлиусе, который рискует стать насильником, если его не научить другому. Ярость Мариши на Оуну теперь напоминает пороховую бочку. Взрывоопасна.)

Грета морщится и медленно проводит рукой перед глазами. Простите, говорит она, но мне кажется, я умираю.

Несколько женщин в тревоге встают.

Мариша смотрит Грете прямо в глаза. Потом смеется и, сняв с Греты очки, показывает их женщинам. Мама, говорит она, ты не умираешь. Очки надо протереть.

Грета с большим облегчением смеется, воскликнув, что уже думала, будто свет погас.

У тебя появилась бы другая перспектива! — кричит Агата.

Женщины смеются, смеются. Агата тяжело дышит. Поросль (Мип и Юлиус), напуганная шумом, опять забирается к матерям на колени. До того они играли, сооружая из сена и навоза мини-сарай с животными.

Солнце садится, напоминает Оуна, и наш свет угасает. Пора зажечь керосиновую лампу.

Но что же твой вопрос? — спрашивает Грета. — Может, подумаем, не попросить ли уйти мужчин?

Никто из нас никогда ни о чем не просил мужчин, заявляет Агата. Ни о единой мелочи, даже передать соль, даже пенни или побыть минутку наедине, ни занести белье, ни раздернуть занавески, ни быть поласковее с жеребятами, ни положить руку на поясницу, когда я опять, в двенадцатый или тринадцатый раз, пытаюсь вы-

толкнуть из тела ребенка. Единственная просьба, с которой женщины обратятся к мужчинам, будет уйти, говорит она. Интересно, правда?

Женщины снова громко смеются.

Они просто не могут остановиться, и если кто-то на мгновение замолкает, то тут же принимается хохотать опять, и все начинается по новой.

Это не вариант, говорит наконец Агата.

Нет, конечно, соглашаются остальные (наконец-то они единодушны!).

Попросить уйти мужчин — не вариант.

Грета предлагает женщинам представить, как ее лошадки, Рут и Черил (при упоминании о них Агата раздраженно взвизгивает), обращаются к ней с просьбой оставить их на денек в покое, чтобы они могли пощипать в поле травку и ничего не делать.

Представьте, добавляет Агата, я прихожу за яйцами, а мои куры велят мне развернуться и покинуть помещение.

Оуна умоляет женщин перестать ее смешить, она боится преждевременных родов.

Они смеются только громче! А оттого, что я в таком гаме продолжаю писать, просто заливаются смехом. Смех Оуны — самый чудесный, самый восхитительный звук в природе, наполнен дыха-

нием и обещанием и единственный издаваемый ею в мир звук, который она не пытается затолкать обратно.

Агата хлопает меня по спине и снова с цоканьем трет глаза, но на сей раз я вижу глаза, наполненные слезами смеха.

Ты, наверно, думаешь, что мы все рехнулись, говорит она.

Нет, уверяю я, и вообще не имеет значения, что я думаю.

Оуна с трудом сдерживает смех. Ты думаешь, спрашивает она, правда не имеет значения, что ты думаешь?

Я краснею. Пусть треснет моя башка.

Оуна продолжает: Как бы ты себя ощущал, если бы в жизни никогда не имело значения, что ты думаешь?

Но я здесь не для того, чтобы думать, отвечаю я, а для того, чтобы вести протокол вашего собрания.

Оуна отмахивается от моих слов. Но если бы всю жизнь, говорит она, ты действительно чувствовал, что твои мысли не имеют значения, как бы ты себя ощущал?

Я улыбаюсь и бормочу, что моя цель — воля Божья.

Оуна улыбается в ответ (!). Но как нам понять Божью волю, если не думать?

Я опять краснею и качаю головой, пытаясь побороть желание разбить ее на части.

Саломея перебивает: Это просто, Оуна, Петерс нам все объяснит!

Женщины снова надрываются от смеха. Я тоже смеюсь. Откладываю ручку.

Смех затихает. Я не знаю, куда смотреть, куда девать руки. Раскладываю блокноты и ручки под прямым углом друг к другу.

Оуна говорит женщинам, что у нее страшно чешется живот и она боится, как бы кожа еще больше не растянулась и не треснула. Женщины снова смеются, а Агата чуть не падает с ведра.

Я перестал писать и на секунду положил ей руку на плечо. Какое облегчение найти занятие хотя бы одной руке, хотя бы на мгновение. Женщины дают Оуне советы: сало, подсолнечное масло, солнце, глина, молитва. Однако Оуне еще кое-что пришло в голову. А что, если арестованные невиновны? — спрашивает она.

Но Лайсл Нойштадтер одного поймала, говорит Нейтье, ведь так?

Так, отвечает Саломея, поймала. Но только одного. Герхарда Шелленберга. И он назвал своих

подельников.

А если он соврал? — спрашивает Оуна.

А зачем ему врать? — спрашивает Грета.

Агата урезонивает Грету: Тебе интересно, зачем человек, запросто насилующий спящих детей, еще и врет? Нелогичный вопрос.

Почему же, говорит Саломея, вполне логичный, хотя, возможно, риторический. Те, кого назвал Герхард, на следующее утро поздно вышли на поле, усталые, с темными кругами под глазами.

Это только разговоры, предположения, замечает Оуна. Одно опоздание на работу и темные круги под глазами еще не означают, что человек всю ночь лазил по чужим домам и насиловал женщин.

Но самое важное, говорит Саломея (Мариша вздыхает, словно желая сказать: опять Саломея за свои нотации), уйдем мы из Молочны или нет, не имеет значения. Мы знаем, что нас насиловали мужчины, по крайней мере один, Герхард, вероятно, и другие, а не призраки, не демоны и не Сатана. Мы знаем, что нам не примстилось. И что не Бог наказывает нас за нечистые мысли и дела.

Мариша перебивает: Но у нас все-таки были нечистые мысли, правда ведь?

Женщины кивают: конечно.

Саломея, не обращая на Маришу внимания, продолжает. Мы знаем, что у нас остались синяки, нам занесли заразу, что мы беременны, напуганы, подвинулись головой, а кто-то и умер. Мы знаем, что обязаны защитить своих детей. Знаем, что, если насилия будут продолжаться, наша вера окажется под угрозой, поскольку нас обуяет гнев, кровожадность и жестокосердие. Независимо от того, кто из них виновен!

Хорошо, Саломея, спасибо, сядь, пожалуйста. Агата тянет Саломею за рукав, а потом говорит: Я бы добавила. Мы также решили, что хотим иметь время и пространство, где и когда думать…

Саломея перебивает: А еще мы хотим и нам нужно, чтобы было признано наше право думать независимо.

Или просто думать, говорит Мейал. Точка. Признано или не признано.

Да, говорит Агата, вот вам еще одна причина уйти из Молочны, правда, не связанная напрямую с насилиями и насильниками.

Но косвенно почти наверняка, говорит Оуна.

Саломея, немного успокоившись, добавляет: Короче, еще раз, мы возвращаемся к трем причинам ухода, и все они обоснованы. Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Мы хотим

сохранить нашу веру. И мы хотим думать.

Будто закладывая новый фундамент, Агата, растопырив пальцы, ставит руки на фанерный стол и спрашивает: Значит, продолжаем?

Но если существует хоть малейшая возможность, что арестованные мужчины невиновны, говорит Мариша, разве мы, будучи членами общины, не должны объединить наши усилия, чтобы они вышли на свободу?

Саломея взрывается. Мы не члены общины!

Остальные женщины в ужасе, и даже солнце прячется за облаком.

Грета, продолжает Саломея, твои любимые Рут и Черил — члены общины?

Нет, отвечает Грета, хотя…

Мы не члены Молочны! — перебивает Саломея. — Мы ее женщины. Вся колония Молочна стоит на фундаменте патриархата (Примечание переводчика: Саломея не использовала слово «патриархат». Я заменил им ругательство Саломеи таинственного происхождения, что в вольном переводе значит «говорить через цветы».), где женщины живут безгласной, безответной, покорной обслугой. Животными. Четырнадцатилетние мальчишки могут нам приказывать, решать наши судьбы, голосовать

за наше отлучение от церкви, говорить речи на похоронах наших же детей (а мы должны молчать), толковать нам Библию, руководить нашей молитвой, наказывать нас! Мы не члены общины, Мариша, мы предмет потребления. (Еще одно примечание переводчика касательно слов «предмет потребления»: ситуация, аналогичная указанной выше.)

Саломея продолжает: А когда мужчины вымотают нас так, что в тридцать мы выглядим на шестьдесят, а матки буквально выпадают из тел на безукоризненно чистый кухонный пол, с нами покончено и они обращают взоры на наших дочерей. И если бы они могли продать всех нас потом на рынке, то так и сделали бы.

Агата и Грета переглядываются. Грета закрывает глаза, прижав одну руку к щеке; подагрические суставы пальцев выпирают, как кольца у какого-нибудь Тюдора.

Мариша, однако, ставит правильный вопрос, говорит Агата. Разве мы, даже как женщины Молочны, не должны действовать сообща, пытаясь освободить наших мужчин, которым предъявлено ложное обвинение, если оно ложное?

Саломея рычит.

Немедленно вмешивается Оуна. Тут встает

еще один вопрос, говорит она. Вполне возможно, мужчины, находящиеся в тюрьме, не виновны в изнасилованиях. Но виновны ли они в том, что не остановили их? В том, что знали о них и ничего не сделали?

Откуда нам знать, в чем они виновны или невиновны? — говорит Мариша.

Но мы же знаем, говорит Оуна. Знаем, что положение дел в Молочне создал мужчина, что изнасилования, даже мысль о них, их планирование, обоснование в головах мужчин стали возможными благодаря положению дел в Молочне. И такое положение дел создали, предопределили мужчины, старейшины и Петерс.

Агата кивает. Да, говорит она, знаем.

(Аутье и Нейтье переглядываются. Мне сдается, им эта мысль внове, но, если она означает движение дальше, меньше разговоров и больше действия, девушки готовы принять ее как факт.)

Однако перед нами все еще стоит вопрос времени, добавляет Агата. У нас его осталось очень мало. Наш уход связан с рядом проблем, которые мы не можем решить в условиях нехватки времени. Мы вынуждены сейчас отложить их и вернуться к ним позже. Мы не можем сейчас быть уверены в виновности или невиновности

мужчин, находящихся в тюрьме, возможно, и никогда не сможем, однако их виновность или невиновность не может быть отправной точкой нашего решения, уходить или нет. Мы назвали три причины ухода: любовь, мир и попечение о наших богоданных душах, — и виновность или невиновность мужчин, находящихся в тюрьме, не имеет к ним непосредственного отношения. Тут мы договорились?

Женщины задумываются. Кто-то уверенно кивает (Саломея, Мейал, Аутье), но других, видимо, одолевают мысли, сомнения, вопросы. (Для ясности уточню: все мужчины, находящиеся в тюрьме, известны женщинам и связаны с ними родственными узами.)

Ну что? — спрашивает Агата. — Половина согласна. А остальные? В конце концов, такова демократия.

Такова что? — спрашивает Аутье.

Еще три женщины кивают в знак согласия: да, причины ухода не связаны с виновностью или невиновностью мужчин, находящихся в тюрьме.

Не ответила только Мариша.

Ладно, говорит Саломея, семь из восьми, достаточно, вопрос решен.

Подождите, говорит Мариша, вы же не хотите

сказать, что насильники такие же жертвы, как и жертвы насилия? Что мы все, мужчины и женщины, жертвы обстоятельств, сформировавших Молочну?

Агата долго молчит, затем говорит: В каком-то смысле да.

Значит, говорит Мариша, вне зависимости от того, признает их суд виновными или невиновными, они все-таки невиновны?

Да, говорит Оуна, мне так кажется. Петерс сказал, что они — зло, преступники, но это не так. В изнасилованиях виновно стремление к власти Петерса, старейшин и основателей Молочны, поскольку, стремясь к власти, они нуждались в тех, над кем могли бы иметь власть, то есть в нас. И они научили власти мальчиков и мужчин Молочны, а мальчики и мужчины Молочны оказались отличными учениками. В данном отношении.

Но, говорит Мейал, разве не все мы в некоторой степени хотим власти? Она зажигает спичку за спичкой, потому что те гаснут, как только она подносит их к кончику цигарки. Мейал терпелива.

Да, говорит Оуна, по-моему, так. Но до конца я не уверена.

О, так ты и во власть не веришь? — язвит Ма-

риша. — Как в авторитет и любовь?

Я никогда не говорила, что не верю в любовь, отвечает Оуна. Только мне не совсем понятно, что это точно значит. Но что бы ни значило, я говорила, что не верю в безопасность, которую, по твоим словам, несет с собой любовь.

Уж ты-то никогда не будешь в безопасности, говорит Мариша. С этой твоей нарфой…

Верно, говорит Оуна (она вроде бы спокойна, задумчива). Правда, в каком-то смысле нарфа дает свободу.

Агата снова проявляет нетерпение. Оуна, говорит она, любовь — другая тема для другого времени.

А безопасность? — спрашивает Оуна.

Грета перебивает: Разве это не вечная тема?

Что не вечная тема? — спрашивает Агата.

Любовь, отвечает Грета.

Разве может то, о чем вечно говорят и что само по себе вечно, быть непознаваемым, как, по крайней мере, считает Оуна? — спрашивает Мариша.

(Тут мне вспоминается фраза Монтеня, хотя она вроде бы не имеет прямого отношения к делу: «Ни во что не верят так твердо, как в то, что знают меньше всего». Вышитые на ткани и вставленные в рамку, эти слова какое-то время

висели в столовой тюрьмы. Не знаю почему.)

Мейал удалось зажечь цигарку. Ну, как раз поэтому тема и вечная, Мариша, говорит она. Ныне и присно и во веки веков. Перед каждым «и» она выдыхает небольшое облачко дыма. Если мы что-то знаем, то перестаем об этом думать, правда ведь?

Просто смешно, говорит Саломея. Знание непостоянно, оно меняется, меняются факты, они становятся не-фактами.

Нейтье и Аутье смеются (может быть, издергались, устали). Затем тут же извиняются.

Нет, серьезно, говорит Саломея. Ты хочешь мне сказать, что перестанешь думать о чем-то, когда решишь, что «знаешь»? Ополоумела?

Мейал опять выдыхает дым и невозмутимо посылает Саломею на хер.

Порядок! — кричит Грета.

Саломея не обращает на нее внимания и начинает речь о том, что вообще не верит в вечность, ничто не вечно. Я даже не верю больше, говорит она, что буду жить вечно. Саломея бравирует, бросает вызов, но женщины не покупаются.

(Примечание для понимания контекста: несколько лет назад из Хортицы дошли слухи, что местный епископ слег, и, прежде чем старей-

шины успели избрать нового из членов общины, в хортицкую церковь для проповеди прислали замену. Новый епископ прибыл из Северной Америки, его жена не заплетала волосы в косу. Так вот, новый епископ якобы сказал пастве, что не верит в буквальное существование рая и ада. Некоторые члены общины встревожились, забеспокоились и прогнали его из колонии. Но сначала новый епископ их спровоцировал. Он не только сам не верит в существование рая и ада, сказал он, но убежден, что и паства тоже. И попросил прихожан поднять руки: есть ли здесь родители погибшего ребенка, бунтаря, который сбежал из колонии или заявил о своем неверии? Поднялись несколько рук. Следующий вопрос новый епископ обратил к тем, кто поднял руку. Если вы любите своих детей и верите, что они после смерти веки вечные буквально будут гореть в адском пламени, как вы можете спокойно здесь сидеть? Зная, что ваш ребенок скоро будет охвачен вечным огнем, будет кричать от страшной боли и нескончаемых мук, как вы можете, придя домой, кушать приготовленные женой на обед вкусные vreninkje и platz, а затем, накрывшись пуховым одеялом, ложиться в теплую постель для подкрепляющего maddachschlop — послеобе-

денного сна? Если бы вы действительно верили, разве не сделали бы все возможное, чтобы заставить их покаяться, принять в сердце Иисуса Христа и получить прощение? Разве не обошли бы всю землю в поисках заблудших детей, ушедших или изгнанных из колонии, скитающихся по библейской пустыне, кого вы заклеймили грешниками? Ведь они ваши дети, ваша плоть и кровь, ваши возлюбленные чада.

Новому епископу в конце концов заткнули рот и прогнали его из колонии. Лучше вообще не иметь церкви, чем слушать кощунственный бред, решили прихожане. Но с тех пор у некоторых меннонитов закрепилась и часто используется для провокаций мысль о несуществовании рая и ада, и не только в Хортице, но и в Молочне.

Интересно, что по этому поводу думает Петерс? О возлюбленных чадах, о вечности. И о блудных отцах.)

Ну, если ты не веришь в вечную жизнь, спокойно говорит Агата, тогда нам действительно нужно поторопиться. Время уходит, вы согласны?

Оуна хотела бы еще немного поговорить о власти. Епископ и старейшины Молочны захватили власть над обычными мужчинами и женщинами Молочны, утверждает она. А обычные мужчины

захватили власть над обычными женщинами Молочны. А обычные женщины Молочны захватили власть над… Оуна умолкает.

Женщины тоже молчат.

Ни над чем, говорит Оуна, кроме наших душ.

Но если в наших душах, по твоему утверждению, явлен Бог, то ты кощунствуешь, говорит Мариша. Мы не можем иметь власти над Богом. Что касается желания власти. Оно ведь совершенно естественно. Даже свиньи в своем вонючем загоне кормятся по очереди.

Но мы не свиньи, говорит Оуна. Разве мы не можем быть другими? Мы произошли от животных или созданы по образу и подобию Божьему, ты как считаешь?

Оуна, довольно-таки дурацкий вопрос, мягко говорит Агата. Ты же знаешь ответ.

(Примечание: я до конца не уверен, как думает Агата, хотя полагаю, имеет в виду второе, то есть что женщины созданы по образу и подобию Божьему.)

Оуна продолжает. Первое вероятно и, конечно, понятнее, но второе исполнено такой красоты, дает такую надежду, правда?

(Аутье и Нейтье смотрят друг на друга. Они так же растеряны, как и я сейчас. В их взгляде

читается: «Что она несет?»)

Я хочу сказать, говорит Оуна, если мы созданы по образу и подобию Божьему, это дает возможность нашим душам существовать, а нам — иметь их и заботиться о них. Наша власть в том, чтобы покориться власти наших душ.

Слово берет Мариша: Наверно, если ты вычеркнула из своей жизни все практические соображения и живешь исключительно ради удовлетворения безумных…

Август, вмешивается Саломея, а ты что думаешь? Образ и подобие Божие или животные?

Животные? — переспрашиваю я. — Ты хочешь сказать…

Опять выручая меня, Оуна начинает смеяться.

Саломея поясняет: Да! Ты полагаешь, что создан по образу и подобию Божию или произошел от животных?

Саломея, говорит Оуна, души у нас могут быть в любом случае.

Я только спрашиваю, говорит Саломея. Просто ответь на вопрос.

Нет, говорит Агата. Не сейчас. В чем мы точно можем быть уверены, так это в том, что время существует, правда? Поскольку оно исчезает. Несуществующее исчезать не может. А без него

мы пропали.

Так что насчет рая? — спрашивает Нейтье.

Ее вопрос остается без ответа, поскольку по лестнице на сеновал поднимается человек. Грант. «Простак», как зовут его в колонии (хотя я отдаю себе отчет в ироничности прозвища, даже когда пишу его). Он называет числа, наугад, так как любит их, но терпеть не может, когда их выстраивают в узнаваемые уравнения. Еще он «водит машину». Машины в Молочне запрещены (запрещена даже резина на колесах повозок, поскольку благодаря ей колеса вращаются быстрее, а так проще убежать в мир), но Гранту разрешается «ездить» по колонии, делая вид, что он обеими руками сжимает руль, и называть числа, не образующие логических цепочек.

Мы здороваемся с Грантом. Он говорит, его отец просто так не умрет, он должен перестать есть хлеб из белой муки, его нужно застрелить. (Смерть в данном случае — награда, акт милосердия. Грант печалится оттого, что его отец много лет был прикован к постели и терпел боль, что хотел умереть и отойти ко Господу. Он просил застрелить его, но никто этого не сделал.) Однако его отец умер много лет назад, и теперь Грант вьется около Агаты или, когда ей надоедают его

бесконечные бормотание, счет и пение, около других женщин. (Он из тех мужчин, которые будут сопровождать женщин, когда/если они уйдут.)

Шесть, девятнадцать, четырнадцать, один, говорит Грант.

Хорошо, Грант, говорит Агата. Замечательные числа. Спасибо. Посидишь с нами тихонько?

Грант хочет спеть нам. Он выходит из машины и поет гимн, где говорится о покое после страданий.

Когда он заканчивает, мы благодарим его, а он говорит, что всегда рад. Опять садится в машину, проезжает по сеновалу, пару раз гудит клаксоном, а потом уходит, повторяя: двенадцать, двенадцать, двенадцать…

Тринадцать! — выкрикивает Аутье, но женщины шикают на нее.

6 июня
Ночью между собраниями

Кое-что случилось. Женщины и дети ушли с сеновала. Я один, быстро заканчиваю записи за день.

Девушки, Аутье и Нейтье, ушли первыми — проверить новорожденных телят. А потом, когда остальные женщины смеялись над разными пустяками, они вернулись в сопровождении Клааса, мужа Мариши.

Карабкаясь по лестнице, Аутье, придав голосу радости, крикнула: Папа дома! Она поднималась медленно, и Клаасу пришлось под нее подстроиться.

Аутье и Нейтье заметно нервничали и имели печальный вид. Им явно ничего не оставалось, кроме как привести Клааса к женщинам.

Восклицание Аутье служило предупреждением, как раз давшим мне время спрятать бумаги и ручки под стол. Оуна сорвала со стены оберточную бумагу для сыра, на которой были написаны «за» и «против», и тоже засунула ее под фанерный стол.

Поднявшись, Клаас потребовал объяснить, зачем женщины собрались на сеновале.

Мариша попыталась поговорить с ним, успокоить. Мы шили одеяло, сказала она.

Клаас посмотрел на меня, рассмеялся и спросил: Они и тебя учили шить? Что ж, Августу полезно научиться, коли уж он такой недоумок на поле.

Женщины нервно рассмеялись вместе с ним.

Да, сказал я, подыгрывая. Я хотел научиться пользоваться иголкой и ниткой, чтобы штопать своих учащихся, если они случайно порежутся во время игр.

Клаас повторил слово «учащихся» и опять рассмеялся. Понюхал воздух и спросил у меня, известно ли мне, что на сеновале лучше не курить.

Мейал открыла было рот, но я опередил ее, громко извинившись перед Клаасом и заверив его, что больше курить не буду.

Август учится шить, сказал он, потешаясь, и спросил меня, точно ли я знаю, что у меня между ног.

Еще бы, ответил я (улыбаясь и ероша волосы).

Хм, я бы не был так уверен, сказал Клаас. Может, стоит проверить?

Клаас, пожалуйста, не говори так в присутствии Юлиуса и Мип, сказала Мариша, и его настроение

резко изменилось.

Он разозлился и стал спрашивать, почему его жена здесь, почему Нетти (Мельвин) Гербрандт ухаживает за другими детьми и где его faspa [7]. Задавая эти вопросы, он смотрел только на меня. Он сказал мне — так как я мужчина (полумужчина) и худо-бедно способен понимать деловые новости, — что они с Антоном и Якобо вернулись из города забрать еще животных и, продав их, выручить деньги для залога. Судья ждет, сказал он. У кого ключ от кооператива?

Не знаю, сказал я. (На самом деле я знал. Ключ висит в сарае Исаака Лёвена, старосты кооператива, и я молча попросил Бога простить меня. А если нет, то поразить.)

А где жеребята? — спросил Клаас. — Почему они не на конюшне?

Не знаю, ответил я. (И опять, на самом деле я знал. Аутье и Нейтье выгнали их в поле, и те паслись у Соргового ручья. И опять я прошу простить или убить меня. Можно ли считать, что, вроде бы оставшись в живых, я получил прощение?)

Аутье и Нейтье стояли позади Клааса, жестами показывая другим женщинам, что выпустили

---

[7] Примечания: 7
Ужин.

жеребят пастись.

В разговор вступила Грета, свекровь Клааса. Многие лошади заболели, сказала она Клаасу, и, пока ты был в городе, ветеринар, приехавший из Хортицы, рекомендовал на две недели поместить их на карантин, чтобы инфекция не распространилась.

Клаас не обратил на нее внимания. Петерс велел отвести на продажу минимум двенадцать лошадей, сказал он мне.

Да, сказала Грета, но за больных лошадей вы ничего не получите. Вас оштрафуют за то, что вы привезли на продажу больных лошадей.

Найдите жеребят, сказал Клаас девушкам, они слишком молоды болеть. Найдите их и привяжите.

Аутье и Нейтье спустились по лестнице.

Я видел твоих лошадей здесь, во дворе у Эрнеста Тиссена, сказал Клаас. Они вполне здоровы, глаза ясные, шерсть блестит.

Грета кивнула: Да, потому что они в том возрасте, когда уже не заболевают болезнью, поразившей других лошадей.

Брось, сказал Клаас, не приняв ссылку на лошадиный возраст, хотя минуту назад говорил, что жеребята слишком молодые, чтобы болеть,

и, сплюнув, обратился непосредственно к Грете. Почему женщины на сеновале Эрнеста Тиссена?

Нужно присматривать за Эрнестом, носить ему еду, ответила Грета, и мы решили засесть за одеяло здесь, на сеновале, чтобы время от времени к нему заходить. Мы знали, он не стал бы возражать, а нам требовалось отдельное помещение.

Неужели Эрнест совсем выжил из ума и не знает, что у него на сеновале болтуньи стегают одеяло? — спросил Клаас.

Грета кивнула.

А где же работа? — спросил Клаас.

Мы только закончили, сказала Агата. Одеяло забрали братья Кооп, чтобы отвезти в кооператив.

Но я не вижу никакого стола для стежки, никаких обрезков ткани, ровным голосом сказал Клаас. А на дороге между Молочной и кооперативом не видел ни братьев Кооп, ни их упряжки.

Мы уже все убрали и собирались домой готовить faspa, объяснила Агата. Ты разве не голоден?

Заговорила Грета. Братья Кооп хотели поехать другой дорогой, через залежные поля.

А в нашем помещении для стежки сейчас заготавливают консервы, сказала Оуна. Сезон черемухи. Очень вкусное получится варенье,

особенно со свежими хлебцами.

Клаас не смотрит на Оуну, вообще ее не слышит. Она для него призрак или того меньше — из-за нарфы, одинокости и быстро растущего живота. Я заметил, что такая призрачность Оуне идет.

Когда я проходил мимо кооператива, он был заперт, сказал Клаас, и там никого не было.

Значит, Коопы еще не доехали, сказала Саломея.

А у них есть ключ? — спросил Клаас.

Откуда я знаю, сказала Саломея.

Мне нужен ключ, я должен взять там деньги из сейфа и отвезти в город Петерсу.

Тогда Петерс и должен был сказать тебе, где ключ, заметила Саломея.

Замолчи, рявкнул Клаас и, посмотрев на меня, сказал: Нейтье говорила мне, женщины помогали при родах в Хортице.

Мы помогали, ответила Саломея. Роды трудные. Придется еще пойти.

Клаас, по-прежнему глядя на меня, напомнил Саломее: Твои обязанности здесь, в Молочне.

Я прекрасно знаю свои обязанности, сказала Саломея.

Я не с тобой разговариваю, помолчи, сказал Клаас.

Но ты обращался ко мне. Ты ведь только что говорил о моих обязанностях.

Клаас снова повернулся к Грете: Твоих лошадей я тоже беру.

Рут и Черил? — воскликнула Грета. — Нет, это невозможно!

Иначе никак, я заберу Рут и Черил, сказал Клаас и велел женщинам подоить, а потом возвращаться домой к детям и готовить ужин.

Но они старые, сказала Грета. Что я буду без них делать?

Сидеть дома, ответил Клаас.

Он велел Юлиусу идти с ним домой, а Марише забрать остальных детей у Нетти/Мельвина. (У Клааса и Мариши много детей, я точно не знаю сколько. У всех белые, выгоревшие на солнце волосы, и, бегая в сумерках по двору, они похожи на светлячков или на белые, разлетающиеся на ветру головки одуванчиков.)

Саломея ушла с сеновала последней. Пока остальные женщины спускались по лестнице к земным заботам, она еще посидела с Мип, восхищаясь ее царством из навоза.

Оуне пришлось помогать Агате ставить ноги на перекладины, потому что они онемели — побочный эффект отечности. Агата рассмея-

лась и поцеловала Оуну в макушку. Дыши и не торопись, сказала Оуна, напомнив матери о ее привычке при нагрузках задерживать дыхание, затем очень быстро, слишком быстро двигаться и только тогда выдыхать.

Агата опять засмеялась.

Не смейся на лестнице, предупредила Оуна. Сосредоточься. (Мне захотелось сказать Оуне, что дыхание Агаты при нагрузках напоминает мне воздушный шарик, который защипывают на конце, не давая сдуться, а затем отпускают и воздух быстро и с шумом выходит. Но эти женщины никогда не видели воздушных шариков. Возможно, видели надутые свиные пузыри. Когда Петерса нет в колонии и дети Молочны могут свободно играть, они используют их вместо мячей. Момент ушел.)

Агате удалось наконец спуститься, и я услышал, как она крикнула женщинам, что с утра пораньше, сразу после дойки, надо будет приступить к следующему одеялу.

Еще я слышал, как Мариша спросила у Клааса, зачем он дал Юлиусу столько вишен, теперь у него болит живот. Клаас рассмеялся и крикнул Саломее поторапливаться.

О, так ты со мной все-таки разговариваешь! —

крикнула в ответ Саломея.

Ее движения медленные, ледяные.

Когда мы ненадолго остались одни на сеновале, я предложил Саломее помочь снести Мип по лестнице, но она отказалась. Воспользовавшись моментом, я сказал ей, что ключ от кооператива в сарае Исаака Лёвена, висит на гвозде над голубым соляным кирпичом.

Прости за ложь, сказал я.

Саломея нахмурилась.

Я спросил у нее, умеет ли она ориентироваться по звездам, знает ли, где Южный Крест.

Она улыбнулась и покачала головой.

Сейчас все ужинают, сказал я ей. Пока обитатели колонии сидят по домам, я возьму ключ, схожу в кооператив и заберу сейф. Я не смогу его открыть, не знаю кода, но возьму и спрячу. Еще я сказал, что, уходя из Молочны, если они уйдут, пусть женщины возьмут сейф с собой и найдут кого-нибудь, кто поможет им открыть его в другом месте, где-нибудь.

А может быть, сказал я, Беньямин даст мне одну из своих динамитных шашек, которыми отпугивает аллигаторов в Сорговом ручье. Тогда вы сможете взорвать сейф.

А не проще узнать код? — прошептала Сало-

мея.

Я принялся умолять ее не пытаться этого делать. И еще раз извинился, после чего попросил поскорее возвращаться к своим обязанностям, чтобы не вызывать подозрений.

Именно тогда Саломея произнесла мое имя.

Август, сказала она, деньги в любом случае наши. Нечего прощать.

Она снесла Мип по лестнице и быстро ушла.

* * *

Потом на тропинке возле моего сарая я встретил Оуну. Ярко светила луна.

Я вышел нарвать немного ягод на вечер, поскольку Оуна упомянула сезон черемухи, и капнул соком на перед рубашки. Я вернулся в сарай, переоделся, взял испачканную рубашку и отправился в прачечную бросить ее в корзину для завтрашней стирки. Выйдя из прачечной, я услышал женский голос, произнесший мое имя. Еще раз. Две женщины за один день произнесли мое имя, что вызвало во мне целую бурю чувств.

И во второй раз его произнесла Оуна. Она сидела на низкой крыше прачечной и смотрела на звезды.

Август! — позвала она.

Я поднял глаза.

Иди посиди со мной.

Я забрался на бочку с водой. И сидел рядом с ней, ночью. Только мы вдвоем. Колени у меня дрожали.

Оуна спросила, зачем мне понадобилась прачечная, я ответил. Потом мы молчали.

Наконец я спросил Оуну, может, она знает про Южный Крест. И указал на скопление ярких звезд.

Конечно, знаю, сказала она. И рассмеялась.

Я сказал, что женщины могут по нему ориентироваться.

Надо вот так сжать правый кулак, сказал я. Я взял ее руку и, сжав в кулак, поднял к звездам. Рука у нее была напряжена, кулак стиснут, как у борца за свободу.

Теперь надо навести костяшку указательного пальца на перекладину Креста, сказал я. Я держал Оуну за запястье и чувствовал величие Господа, всепоглощающую благодарность. Что-то перевернулось в животе. Мою молитву услышали.

А теперь, сказал я, кончик большого пальца, вот так, будет показывать на юг.

Оуна улыбнулась, кивнула и захлопала в ладоши.

Покажешь остальным? — спросил я.

Конечно! — еще раз сказала она. — У нас будет урок по ориентации.

Оуна, сказал я.

Она посмотрела на меня, все еще улыбаясь.

Ты знала эту маленькую хитрость?

Она засмеялась и кивнула. Конечно, знала.

Я тоже улыбнулся, глупо, и промямлил, вот, мол, найти бы такое, чего она еще не знает, я бы ей рассказал.

Такое есть, сказала она. Расскажи, почему тебя посадили.

Я украл лошадь, ответил я.

Оуна торжественно кивнула, как будто так и думала.

И я все ей рассказал. В Лондоне после исчезновения моего отца и смерти матери мне негде было жить. Я учился в университете, ходил на семинары по истории, и у меня случился нервный срыв. Я бросил учебу (просвещение) и присоединился к группе анархистов, художников, музыкантов, поселившихся на пустыре у верфи Горгульи в Уондсворте, недалеко от Темзы. (Именно там я понял, как люблю уток, хотя не понял, что такую смешную информацию о себе лучше хранить при себе, особенно в тюрьме.)

Разговор об околоводных птицах в тюрьме, даже самая мелкая деталь, может привести к жестокому избиению, сказал я Оуне, и она тоже решила: мне следовало помалкивать.

Но когда что-то очень любишь, трудно хранить это в секрете, правда? — сказала она.

Я пробормотал «да» и посмотрел на нее, потом на Южный Крест, потом себе на колени.

В Уондсворте было здорово, продолжил я. Мы жили просто, одной семьей. При помощи материала, взятого нами из руин старых зданий, снесенных городом, чтобы проложить автостраду, я построил несколько домиков. В нашей экодеревне мы проводили концерты, завели огороды, старались ладить друг с другом. Нас там жило несколько сотен, и однажды мы все отправились в Гайд-парк выразить протест против одного принятого закона. Закон позволял государству в рамках уголовного законодательства ужесточать наказание за «антиобщественное» поведение, вроде нашего. Он запрещал празднества, сборища и даже определенную музыку с «характерной последовательностью повторяющихся тактов». Рассказывая это Оуне, я изображал в воздухе кавычки, пытался придать голосу властности и говорил с британским акцентом.

Оуна рассмеялась. Что за музыка? — спросила она.

Техно, сказал я. Ты знаешь, что такое техно?

Нет.

Электронная танцевальная музыка.

Так ты правда украл лошадь? — спросила она.

Да, на акции протеста в Гайд-парке. На ней ехал полицейский. Он двинулся на протестующих. А другие участники протеста — как нам стало известно позже, туда подтянулось более пятидесяти тысяч человек — стащили его с лошади, и она осталась без всадника, при виде толпы в панике била копытами, вставала на дыбы. Я вскочил на нее и, объехав толпу, ускакал в тыл, за людей и других полицейских к пруду с фонтаном, где лошадь могла попить и остыть. Я говорил с ней и, мне хотелось думать, успокоил. Никто не обращал никакого внимания ни на меня, ни на лошадь. В конце концов я вернулся на ней в Уондсворт и оставил там как друга. Друга всем нам.

Я и назвал ее Фринтом. (На плаутдиче — «друг».)

Фринт даже выполнял для нас кое-какую работу, потому что помощь требовалась от каждого живого существа. Иногда он возил дрова, другие

материалы. Фринт был отлично выдрессирован и в хорошей форме.

Оуна сидела на крыше прачечной и посмеивалась в темноте. Но тебя же поймали? — спросила она.

Да, ответил я. В конце концов меня арестовали за кражу Фринта. Это серьезное преступление — кража у полицейского.

И ты попал в тюрьму, сказала она. Где серьезное преступление — признание в любви к уткам.

Да, сказал я. В тюрьму Уондсворт.

Трудно сидеть в тюрьме? — спросила Оуна.

Да, сказал я. Меня никто не навещал. Других сквоттеров, моих друзей, прогнали с пустыря, и они уехали куда-то. Фринта я тоже никогда больше не видел.

Тебя били? — спросила Оуна.

Каждый день, ответил я.

Ты потерял веру? — спросила Оуна.

Я терял ее множество раз, ответил я. Хотел убить нескольких своих сокамерников. И большинство охранников.

Тебе было страшно? — спросила Оуна.

Постоянно, ответил я. Постоянно.

7 июня
Протокол женских разговоров

Очень рано, еще темно. После разговора с Оуной на крыше я не уснул. Зажег керосиновую лампу, чтобы писать.

Коровы подоены, и все женщины, кроме Мариши и Аутье, на сеновале. Грета ходит взад-вперед, периодически подходит к окну и всматривается в темноту. Ходит она нетвердо. За последние несколько месяцев Грета несколько раз падала и сломала себе пару ребер и ключицу. Мейал просит ее сосредоточиться и, шагая, выше поднимать ноги, не шаркать, чтобы не споткнуться, но Грета очень устала, тело отяжелело, и каждый шаг явно причиняет ей боль.

Агата положила ноги на колени Оуне, и та растирает их, пытаясь восстановить кровообращение. Оуна тихо поет «На старом грубом кресте», и Агата подхватывает через слово, хотя ей трудно дышать. Саломея (ни Мип, ни других ее детей теперь нет) рассеянно заплетает волосы Нейтье, натягивая так сильно, что та молит о пощаде.

Я уже почти ничего не вижу, говорит она своей

матери/тетке.

Саломея еще раз спрашивает у Нейтье: Ты всем сказала про собрание?

Да, уверяет Нейтье.

Саломея одобрительно бормочет и спрашивает, что ответили женщины.

Большинство согласились прийти в конюшню вечером после faspa, отвечает Нейтье.

А меньшинство? — спрашивает Саломея.

Ничего не ответили, говорит Нейтье. Кто-то вообще не хотел ничего слышать. Кто-то ушел. Беттина Крёгер замахала руками, будто отгоняя несуществующих вредных насекомых.

Мейал перебивает ее. Не волнуйся, говорит она Саломее. Все мужчины женщин, решивших не делать ничего, сейчас в городе, с Петерсом, и женщины ничего не смогут им рассказать.

А если Клаас прознал? — спрашивает Саломея. — И где вообще Мариша?

Клаас не вспомнит ничего, что ему сказали, даже если бы сказали, говорит Агата.

Мейал спрашивает у Саломеи, где Мип. С Нетти/Мельвином?

Да, отвечает Саломея. Ей сегодня плохо, таблетки не помогают. Я подозреваю, таблетки для животных, не для людей.

Но Мип маленькая, говорит Мейал. Помогут.

Мип маленькая, кивает Саломея. Но не теленок.

Хочешь, расскажу свой сегодняшний сон? — спрашивает Оуна у Агаты.

Агата, поместив голову на руку, говорит: Если честно, Оуна, то нет.

Оуна улыбается.

Но потом да, говорит Агата и тоже улыбается Оуне.

Август, говорит Оуна, тебе что-нибудь сегодня снилось?

Да, отвечаю я.

На самом деле мне ничего не снилось, поскольку я не спал, если только разговор с Оуной на крыше прачечной не был сном.

Оуна продолжает петь. Затем умолкает. Мама, говорит она, мне снилось, будто ты умерла, и я сказала: Но поскольку ты умерла, меня некому будет подхватить, если я упаду. А потом ты ожила, правда, вид у тебя был очень усталый, болели ноги, хотя ты и радовалась, что вернулась в последний раз. И ты сказала: Тогда не падай.

Женщины смеются.

Мне очень хочется сказать Оуне, что я подхвачу ее, если она упадет.

Агата треплет дочь по руке. Оуна, говорит она, мы рождаемся, потом живем, а потом умираем и больше не живем, если только не на небе. Где будет справедливость.

И уважение, добавляет Грета. Ее руки вдруг взлетают вверх, как у судьи в американском футболе, когда тачдаун засчитан.

Значит, мы вместе были на небе, говорит Оуна. Во сне.

Но, Оуна, говорит Мейал, на небе многие могли бы тебя подхватить, если бы ты упала. Хотя на небе ты и упасть не могла бы.

Нет, ты можешь и споткнуться, говорит Саломея. Ты нескладная. (Я вижу, Саломею тема раздражает.)

Если только небо не часть сна, говорит Оуна. Или если сны логичны.

Но сны не логичны, говорит Агата.

Не знаю, говорит Оуна, может, они самое логичное изо всего, что у нас может быть.

Небо реально, говорит Мейал, а сны — нет.

Откуда ты знаешь? — спрашивает Оуна. — Разве нам не снится небо? Разве небо вообще не сон? Что, конечно, не делает его нереальным.

Агата решительно меняет тему разговора. Где Мариша? — спрашивает она. — И Аутье? Посмот-

рите на небо, добавляет она, имея в виду свет на горизонте.

Мейал разбрасывает по столу лоскуты и катушки с нитками, создавая впечатление, будто женщины готовятся шить одеяло.

Это на тот случай, если Клаас вернется, объясняет она, а закончив, поворачивается к Саломее и тихо, взволнованно говорит ей, что у нее прекратились месячные.

Саломея чертыхается, а затем высказывает шутливые предположения, кто может быть отцом ребенка.

Мейал поднимает рыжий палец (тайная жизнь!), призывая Саломею молчать.

(Я замечаю, что всякий раз, расстроившись или разозлившись, Саломея дергает Нейтье за косу, та уже измучилась. Она отсаживается от Саломеи и просит бабушку, Агату, доплести косу.)

Мейал рассказывает Саломее, как ее муж Андреас каждый месяц пугается, когда у нее начинается кровотечение, но она не умирает. Он так теряется. Мейал смеется.

Ты перебираешь, это смешно, говорит Грета. Конечно, Андреас знает про женский цикл. (Она явно не одобряет неуважительное отношение Мейал к мужу.)

А ты ему не объяснила? — спрашивает Саломея.

Мейал опять смеется. Забавно, когда он пугается, говорит она.

В смысле, когда ты не умираешь от кровотечения? — спрашивает Оуна. — Он считает тебя ведьмой?

Наконец по лестнице на сеновал поднимается Мариша. За ней Аутье, помогает.

Грета бросается к Марише и обнимает ее.

Оуна и Агата отводят взгляд.

Саломея встает. Что случилось? — спрашивает она. — Что случилось?

Лицо Мариши в синяках и порезах. Рука на перевязи, которую соорудили из мешка для корма. У Аутье тоже на щеке синяк, имеющий форму раскрытой руки. Они садятся за стол.

Он уехал? — спрашивает Грета.

Мариша, как всегда, дерзко, отвечает: А иначе пришла бы я сюда?

Нейтье с наконец-то заплетенной косой подсаживается к своей подружке. Она ничего не говорит, ей нечего сказать или предложить, но она подлаживает свое дыхание к дыханию Аутье. Они смотрят вперед, я не понимаю куда, но там не пустота. И молчат.

Тогда давайте начнем, говорит Агата. Вчера был день разговоров, сегодня — действий. Завтра вернутся мужчины. Мы все — более-менее — решили уйти до их возвращения, я правильно понимаю? Отвергли вариант остаться и бороться, поскольку мы миролюбивы и…

Саломея перебивает: Или поскольку мы не выиграем.

Нет, говорит ее мать, мы отвергли этот вариант, так как наша вера имеет базовые ценности, и одна из них — миролюбие. У нас нет другой родины, кроме веры, и залог вечного мира на небесах — служение нашей вере.

Хорошо, что этот гребаный мир не в Молочне, чуть не плюется Саломея.

Саломея, пожалуйста, не сквернословь, говорит Агата и советует дочери вместо брани сделать двенадцать «звездных» прыжков.

Нейтье смеется.

А двенадцать звездных прыжков дадут мир Молочне? — спрашивает Саломея.

Мариша, кривя истерзанное лицо, говорит: Я думала, сегодня день действий, а не разговоров.

Женщины, сегодня снисходительные к Марише, тихо смеются, одобряя ее неунывающее чувство юмора.

Да, продолжает Агата, мы отвергли вариант не делать ничего, так как, не делая ничего, не защитим детей, данных нам Богом, чтобы мы их оберегали и растили…

Мариша перебивает: Но как можно быть уверенным, что с ними не произойдет ничего плохого, если мы уйдем из Молочны?

Нельзя, говорит Оуна. Но можно быть уверенным, что плохое с ними произойдет, если мы останемся.

Оуна и Мариша смотрят друг на друга.

Разве нет? — спрашивает Оуна.

Мариша молчит. Глаза у нее влажные. Она складывает лоскуток и дергает нитки. Женщины переводят взгляд на свет, поднимающийся над горизонтом и льющийся в окно сеновала Эрнеста Тиссена.

* * *

Я задуваю керосиновую лампу, света на сеновале уже достаточно. Женщины сегодня беззащитные, серьезные, оскорбленные, взволнованные. Еще я чувствую, как Марише хочется остаться в тени, чтобы ее никто ни о чем не спрашивал. С улицы доносятся крики животных, ветер из открытого окна треплет пряди волос, выбившиеся

из запрещенного пучка Оуны.

Сколько раз нам придется собирать вещи и уходить в ночь? — спрашивает Грета.

Аутье и Нейтье переглядываются. (Они буквалистки и, наверно, думают: Мы ведь никогда этого не делали.)

Грета, это отсылка к чему? — спрашивает Агата.

Для уроков истории сейчас не время, говорит Мариша. Насколько я понимаю, мы решили, что хотим, убеждены в правильности и имеем право на три вещи.

Какие? — спрашивает Грета.

Мариша отвечает: Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Она тихо заплакала, ей трудно говорить, но она продолжает. Мы хотим крепко стоять в нашей вере. И мы хотим думать.

Агата хлопает один раз в ладоши и, не разъединяя рук, говорит: Слава Богу. Грета, опять, как судья в футболе, поднимает руки над головой. Старшие женщины ликуют. Саломея и Мейал улыбаются.

Саломея говорит: Да, все так.

Точно, говорит Мейал.

Ну, не совсем точно, но, по мне, так хорошо, говорит Саломея. Хорошее начало.

Саломея, ты и с последним вздохом на земле будешь меня поправлять? — спрашивает Мейал.

Да, если потребуется, отвечает Саломея.

Оуна широко раскрыла глаза. То ли замечталась, то ли в трансе. Это начало новой эры, говорит она. Наш манифест. (Слово «манифест» она говорит по-английски, но в меннонитской огласовке звучит как «меннофасто».)

Наш что? — спрашивает Аутье.

Пожалуйста, все вопросы к Саломее, говорит Мейал. Она готова с последним вздохом повышать образовательный уровень своих глупых друзей.

Саломея смеется и возражает: Я не говорила, что ты глупая, Мейал. Только слово «точно» ты употребила неточно.

Мейал скручивает цигарку и предлагает за такое преступление запытать ее до смерти.

Что такое манифест? — опять спрашивает Аутье.

Женщины хмурятся и смотрят на Оуну, которая улыбается.

Я не совсем уверена, говорит она, но мне кажется, некое заявление. Руководящее указание. Потом она смотрит на меня и спрашивает: Так?

Да, киваю я, заявление. Заявление о намерени-

ях. Иногда революционных.

Агата и Грета обмениваются встревоженными взглядами.

Нет-нет, Август, говорит Агата, они не могут быть революционными. Мы не революционеры. Мы обычные женщины. Матери. Бабушки.

Революционеры — солдаты, добавляет Грета, часто вооруженные винтовками, бомбами или еще чем-нибудь в таком роде. Мы совсем другое. (В Молочне любое упоминание о революции вызывает мысли о русской революции, что для меннонитов дело не благое.)

Но мы готовы умереть за наше дело? — спрашивает Оуна.

Нейтье и Аутье мотают головами.

Да, говорит Саломея, конечно.

Нейтье и Аутье обмениваются встревоженными взглядами, очень похожими на взгляды их бабушек секунду назад.

Ты готова убить за наше дело? — спрашивает Оуна.

Нет, говорит Саломея.

А себя позволишь убить за наше дело? — спрашивает Оуна.

Вообще-то нет, отвечает Саломея. Лучше нет.

Потому что не хочешь делать убийц из других

людей? — спрашивает Оуна. — Или потому что ставишь свою жизнь выше дела?

Не знаю, нетерпеливо отвечает Саломея. А время идет.

Оуна просто пытается точно понять, говорит Мейал. Разве точность не твой конек? То, о чем ты будешь говорить, испуская последний вздох?

Послушайте, хватит, говорит Агата.

Я не без волнения поднимаю руку, и Агата спрашивает: Да, Август?

Я еще раз прошу прощения за то, что необдуманно использовал слово и вызвал ненужные споры.

Оуну тошнит в ведро для корма рядом с ней. Она извиняется. Потом смотрит на меня. Мне нравится слово «революционный», говорит она. На подбородке у нее следы рвоты.

Саломея берет клок сена и, подтерев ей подбородок, возбужденно что-то шепчет.

Оуна кивает и смотрит в сторону окна. Опять кивает. (Маленькая революция внутри большой?)

Поехали дальше, говорит Агата. Мы договорились, что хотим лишь защитить наших детей, сохранить нашу веру и получить возможность думать? Что мы не революционеры (и не живот-

ные)? И что на вопрос, готовы ли мы умереть за наше дело, необязательно давать ответ сейчас, поскольку перед нами стоят более неотложные задачи?

Да, говорит Мейал. Но я бы хотела поднять еще один вопрос. Он имеет отношение к библейской мысли о том, что женщины должны слушаться своих мужей и подчиняться им. Если мы хотим остаться хорошими женами, как же мы можем оставить своих мужей? Разве это не непослушание?

Мы прежде всего и больше всего должны нашим детям, говорит Саломея. Наш долг обеспечить их безопасность.

Но в Библии так не сказано, говорит Мейал.

Мы не умеем читать, говорит Саломея. Откуда же нам знать, как сказано в Библии?

С тобой очень трудно, говорит Мейал. Нам рассказывали, что сказано в Библии.

Да, говорит Саломея. Петерс, старейшины и наши мужья.

Верно, говорит Мейал. И сыновья.

Сыновья! — восклицает Саломея. — И что объединяет Петерса, старейшин, наших сыновей и мужей?

Я уверена, ты нам сейчас сообщишь, говорит

Мейал.

Они все мужчины! — говорит Саломея.

Конечно, говорит Мейал, я знаю. Но кто еще мог бы растолковать нам Библию?

По-моему, говорит Саломея, уйдя, мы не обязательно ослушаемся мужчин и поступим не по Библии, так как не знаем, что там дословно сказано, мы ведь не можем ее прочитать. Более того, мы считаем своим долгом подчиняться мужьям единственно потому, что именно они растолковали нам библейские предписания. Если твой муж, обращается она к Мейал, говорит тебе, что устами мужчин — пророков, апостолов или самого

Иисуса — Бог разъяснил в Библии, что он, твой муж, когда ты не уверена в его правоте, должен бить тебя по лицу, сечь своих малышей, если они случайно не закрыли дверь в сарай, и ты тоже должна их сечь, ты с ним согласишься?

Мейал закатывает глаза, а заодно цигарку.

Ты бы решила, что он точно знает закон Божий? — не унимается Саломея.

Оуна цитирует Екклесиаста: Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.

Агата поднимает брови. Что за дурацкий спор вы затеяли? — спрашивает она.

В Библии говорится, есть время для ненависти

и время для войны, повторяет Оуна. Мы в это верим?

Женщины молчат.

Нет, говорит потом Агата, не верим.

Мы ненавидим войну, говорит Нейтье.

Аутье смеется.

Агата улыбается, подбадривая девочек. Она начинает раскачиваться — влево, вправо, опять влево — полузаметный танец, исполняемый ею, когда нравится шутка. Так Агата показывает: поняла, хорошая шутка.

Вероятно, можно с уверенностью утверждать, что в нашем понимании Библии есть некоторые пробелы, говорит Мариша. Надо двигаться дальше. Она стремительным движением вздергивает подбородок к окну, к солнцу.

Я согласна, пробелы есть, говорит Саломея. Но проблема в другом, не просто в пробелах.

В пропастях? — спрашивает Нейтье.

Аутье хихикает.

Дело в мужской интерпретации Библии, продолжает Саломея, демонстративно игнорируя Нейтье, и в том, как ее «спускают» нам.

Оуна формулирует простой тезис: Да, неумение читать и писать ставит нас в очень невыгодное положение при любом обсуждении Библии.

Агата бьет ладонью по фанере. Все это интересно, говорит она, но Мариша права. Время уходит. Мы можем договориться, что не будем чувствовать себя виноватыми?…

Как же нам контролировать свои чувства? — перебивает Мариша.

Агата продолжает:…В неповиновении мужьям, если уйдем из Молочны, поскольку не можем быть полностью уверены в том, что не повинуемся? Или даже что такое явление, как неповиновение, вообще существует?

О, существует, говорит Мариша.

Да, говорит Саломея, как слово, как понятие и как действие. Но это некорректное слово для обозначения нашего ухода из Молочны.

Возможно, одно из слов, говорит Мариша, которыми можно обозначить наш уход.

Верно, говорит Саломея, одно из многих. Но им воспользуются мужчины Молочны, не Бог.

Воистину, говорит Мейал. Бог может назвать его иначе, наш уход.

А как, по-твоему, назвал бы наш уход Бог? — спрашивает Оуна.

Время любить, время миру, говорит Мейал.

Вот! — восклицает Оуна и радостно хлопает в ладоши.

Саломея улыбается.

Мейал сияет. Агата раскачивается — влево, затем вправо.

(Мне приходит в голову поразительная мысль: возможно, женщины Молочны впервые толкуют для себя слово Божье.)

На нас навалится тоска, на нас навалится грусть, неуверенность, печаль, но не чувство вины, говорит Агата.

Мариша уточняет: Мы можем *почувствовать* себя виноватыми, но на самом деле будем знать, что не виноваты.

Женщины энергично кивают.

Мейал говорит: Мы можем *почувствовать желание убить, но знаем, что мы не убийцы.*

Оуна говорит: Мы можем почувствовать желание отомстить, но будем знать, что мы не еноты.

Саломея смеется. Мы можем чувствовать, что все пропало, говорит она, но будем знать, что мы не пропащие.

Говори за себя, огрызается Мейал.

Я всегда говорю за себя, отвечает Саломея. И тебе советую.

Мейал передразнивает Саломею, повторяя ее слова властным голосом, похожим на кваканье лягушки.

И последнее, прежде чем мы двинемся дальше, говорит Грета. Вопрос о перевоспитании наших мальчиков и мужчин. Разве нам не хотелось бы и этого?

Не «хотелось», говорит Саломея, не вполне. (При уточнении Саломеи девочки опять делают вид, будто стреляются.) Перевоспитание мальчиков и мужчин — наш долг, если мы соблюдаем важнейший для нашей веры принцип миролюбия и бесконфликтности. От него нельзя отступать, если мы хотим познать вечный мир на небесах!

Да, говорит Грета (страшно устало).

И если хотим защитить своих детей, говорит Оуна.

Да, тоже, говорит Грета и добавляет: Значит, это должно войти в наш план?

В манифест, говорит Нейтье.

Аутье хихикает.

Да, говорит Грета. В манифест.

Нейтье и Аутье хохочут. Похоже, слово «манифест» кажется им невыносимо смешным.

Саломея говорит: Перевоспитание будет органичным (Твою мать, «органично», говорит Мейал), если мы привьем нашим детям мужского пола дух сострадания и уважения.

Саломея бросает скрученный лоскут в Мейал,

та цигаркой прожигает в нем дыру и смотрит сквозь нее на Саломею темным глазом.

Саломея смеется и говорит Мейал: Приложи к одеялу. Добавит оригинальности.

Ты хочешь сказать, к воображаемому одеялу, говорит Мейал.

Но как быть с оставшимися мальчиками? — спрашивает Грета.

Саломея резко серьезнеет и, подняв руку, просит внести ясность. Мы уже определили предельный возраст мальчиков, которые смогут уйти с нами? — спрашивает она.

Женщины какое-то время молчат. Затем Агата говорит, она подумала и хотела бы внести предложение. Вопрос о мальчиках и мужчинах сложный, говорит она. Мы любим своих сыновей и, с некоторыми справедливыми оговорками, своих мужей, хотя бы потому, что нас так научили.

Ты путаешь любовь с покорностью, говорит Мариша.

Возможно, в твоем случае и так, Мариша, но это не обязательно относится ко всем женщинам общины, говорит Агата. Так или иначе мы должны любить или проявлять любовь к людям. Известнейшее слово Божье (приблизительно так его толкуют мужчины): любить друг друга так,

как Бог любит нас, и любить ближнего так, как, мы надеемся, он любит нас.

(Я слышу, как Саломея глубоко вздыхает.)

Аутье и Нейтье опять кладут головы на стол. Нейтье предлагает Аутье кусок колбасы, который жует с начала собрания.

Аутье хмурится, закрывает глаза.

Нейтье осторожно прикасается к щеке Аутье, к синяку, оставленному отцом.

Агата предлагает: Все мальчики в возрасте до пятнадцати лет должны уйти с женщинами.

Уйти куда? — спрашивает Мариша.

Мариша, говорит Грета, ты же понимаешь, мы не знаем точно, куда идем.

Мейал добавляет: Да и откуда нам знать? Мы никогда не покидали пределов Молочны, у нас нет карты, а даже если бы была, мы не смогли бы ее прочитать.

Саломея спрашивает: А почему «должны»? Мы заставляем их уйти с нами?

Агата продолжает, ничуть не смутившись. Пятнадцать — возраст крещения; крещеные мальчики, являющиеся с этих пор полноправными членами церкви, считаются мужчинами и поэтому сейчас находятся в городе вместе со старшими. Мальчики младше пятнадцати, а

также Корнелиус и Грант, здесь, в колонии. Они как дети, поскольку требуют особого попечения. Конечно, они должны уйти с нами. Мы решили, наш долг, инстинкт и желание — защитить наших детей. Не только дочерей.

Женщины говорят одновременно, и я опять не могу разобрать отдельные голоса.

Пожалуйста, говорит Агата, по одной.

А что мы будем делать, если мальчики не захотят уходить, откажутся? — спрашивает Мариша. — Мы не можем нести четырнадцатилетних подростков на спине.

Верно, говорит Агата. Мы не можем заставить их уйти с нами, но мы объясним все, что обсуждали здесь, на сеновале, почему, как мы считаем, им лучше уйти с нами. Мы постараемся воздействовать на наших сыновей.

Аутье и Нейтье подняли головы со стола.

Нейтье говорит: Мальчики могут прочитать карту.

Если бы она у нас была, говорит Аутье.

Я поднимаю руку.

Аутье улыбается: Да, господин Эпп?

Я сообщаю женщинам, что разыскиваю карту мира, которая, насколько мне известно, имеется в Хортице.

Женщины смеются. (Я не понимаю почему.)

Оуна возвращается к словам матери. Женщины Молочны, решившие попытаться воздействовать на своих сыновей, — действительно революция, говорит она.

Нет, возражает Агата. Инстинкт. Мы их матери. Они наши дети. Мы сообща и в согласии с принципами нашей веры и определением любви и мира, по крайней мере в нашем понимании, а также с условиями достижения вечной жизни на небесах решили, что для них лучше, и будем действовать соответственно. Наши животные инстинкты объединили силы с разумом, достаточно долго таившимся и томившимся в тени, и с душами, где явлен Бог. При чем тут революция? (Агате очень трудно дышать.)

А мальчикам, которые откажутся уйти с нами, будет разрешено остаться в колонии? — спрашивает Мариша.

Конечно, говорит Агата, мы поручим их заботам женщин, решивших не делать ничего, и отцам. Те скоро должны вернуться, видимо, завтра.

Как грустно, говорит Мейал.

Да, говорит Агата, очень грустно. Но от грусти не уйти. И мы ее вынесем.

Саломея, спрашивает Мариша, а что твой Аа-

рон? Он уйдет?

Саломея, не отвечая на вопрос, спрашивает Агату: А мы позовем оставшихся мужчин и мальчиков присоединиться к нам позже, когда устроим новую общину?

Не знаю, отвечает Агата. Как нам известно, юноши Молочны часто женятся в шестнадцать лет, и оставшиеся мальчики, вероятно, женятся на девушках из Хортицы или откуда-нибудь еще дальше, например из Хьякеке. (Примечание переводчика: название колонии севернее Хортицы на нашем языке означает «Вот, смотри», предполагается ответ на вопрос: вы где?) Возможно, им потом не захочется срываться.

Но если они все-таки захотят к нам присоединиться, спрашивает Мейал, то смогут?

Агата молчит, быстро моргает и поднимает взгляд на стропила.

Наверное, смогут, если подпишут наш манифест и примут его положения, говорит Оуна.

Саломея говорит, что боится, как бы мужчины не изменили и постепенно не исказили смысл манифеста. Они могут подписать его только для воссоединения с женщинами, но потом не станут соблюдать условия.

Мейал соглашается. И тогда мы вернемся к

тому, с чего начинали, говорит она.

Слушайте, мы отправляемся в путь, говорит Агата. Затеваем перемены, которые в последние два дня определили как Божью волю, свидетельство нашей веры, наши обязанности и природные инстинкты матерей и человеческих существ, имеющих душу. Мы должны верить в это.

Грета разъясняет: Мы не знаем всего, что произойдет. Надо подождать и посмотреть. Пока мы составили план.

Ко мне поворачивается Оуна. Август, как ты думаешь, художник Микеланджело знал, какой будет картина, до того, как начал?

Не знаю, отвечаю я.

Вряд ли, говорит Мариша.

Или взять фотографию, говорит Оуна. Знает ли человек, делающий фотографию, какой она будет, когда фотографирует?

Фотограф, говорю я, возможно, лучше представляет, какой будет работа, чем художник Микеланджело — конечный результат своего труда.

Оуна просит меня разъяснить. Мы, женщины, художники, говорит она.

Мариша фыркает. Художники по части тревог.

Оуна улыбается мне. Я улыбаюсь Оуне.

Агата берет руку Оуны, которая берет руку Саломеи, которая берет руку Мейал, которая берет руку Нейтье, которая берет руку Аутье, которая берет руку Мариши, которая берет руку Греты, которая берет руку Агаты.

Женщины смотрят на меня.

Агата отпускает руку Греты и берет мою руку, я откладываю ручку и, стараясь не давить на выступающие костяшки, беру руку Греты.

Мы запеваем. Агата начинает, и все подхватывают: старшие с удовольствием, младшие нехотя, еле-еле, средние покорно, хотя и прекрасно.

Мы на сеновале Эрнеста Тиссена, между небом и землей, и, может быть, я в последний раз слышу, как поет Оуна. Мы поем «За красоту земли».

За красоту нашей земли,
За ясных красоту небес,
За красоту Твоей любви —
Твой дар, отныне и вовек,
Иисусе, Господи, Тебе
Хвалу поем мы, о Тебе.
За чудо лета и зимы,
За хлад ночей и ясность дней,
За горы, реки, свет звезды,

Красу берез и тополей,
Иисусе, Господи, Тебе
Хвалу поем мы, о Тебе.
За радость сердцу и уму,
Отраду слуху и очам.
Ты нить способен протянуть
От зримых образов к словам.
Иисусе, Господи, Тебе
Хвалу поем мы, о Тебе.
За милости любви земной
За чадо, мать, отца, сестру,
Что на земле и над землей,
За нежной мысли красоту,
Иисусе, Господи, Тебе
Хвалу поем мы, о Тебе.
За каждый Твой великий дар,
Чем Ты ущедриваешь нас,
Чтобы цветов земных пожар
В покое вечном не угас,
Иисусе, Господи, Тебе
Хвалу поем мы, о Тебе.

Грета предлагает спеть еще один гимн и спра-

шивает, не хотят ли женщины «Боже мой, ближе к Тебе».

Я разволновался. Не понимаю, что со мной.

Оуна смотрит на меня. Я поднимаю руку.

Ты можешь говорить когда хочешь, Август, замечает Агата, тебе не нужно поднимать руку. Ты ведь учитель! И она смеется.

Все взгляды обратились на меня.

Слезы катятся по моим щекам. Я с трудом вижу бумагу, чтобы писать. Вижу, как Мариша поджимает губы и отводит взгляд. Этот полумужчина. И откуда он только взялся. Аутье и Нейтье, по-моему, так же огорчены моим плачем, как и я сам.

Мне вот что интересно: любила ли моя мать Петерса? Был ли он другим, чем сейчас? Добрым? Был бы он другим человеком, если бы не угодил в ловушку — в топку разрушительного эксперимента? Грех ли надеяться на это? Способен ли он понять мой страх? Утешить меня? Я пытаюсь сдержать слезы, сосредоточившись на определении промежуточного состояния. Хочу поделиться им с Оуной. Но, пожалуй, сейчас у меня не будет такой возможности.

И я спрашиваю женщин, можно ли рассказать кое-что, связанное с гимном, предложенным Гретой, «Боже мой, ближе к Тебе».

Саломея хмурится, но говорит: Конечно, Август, только побыстрее. Она показывает на окно, на свет, который вдруг приобрел центральное значение в нашей истории, стал страшным катализатором.

«Боже мой, ближе к Тебе», говорю я, пели пассажиры «Титаника», когда корабль тонул.

Я смотрю на Оуну.

Она говорит, что не слышала о таком корабле, но, находясь на обреченном судне, тоже запела бы именно этот гимн.

Мариша добавляет: Если бы больше ничего нельзя было сделать.

Да, говорит Оуна, если бы больше ничего нельзя было сделать.

Никто из женщин на сеновале не слышал о «Титанике». Никто из женщин на сеновале не видел океана. Их сдержанное, вежливое внимание к моему сообщению смущает. Они молчат, кивают, воздавая ему должное. В моей душе такая мука — титаническая. Мои слова предназначались для Оуны. Но как же глупо с моей стороны предлагать такой подарок, я будто имел в виду, что план женщин обречен. Какой эгоизм.

Грета милосердно предлагает нам еще спеть.

* * *

Мы спели «Боже мой, ближе к Тебе». Во время пения мне так хотелось держать за руку Оуну, а не Агату и Грету. Господи, прости мне.

А теперь надо работать.

Агата настаивает, что хватит разговаривать через цветы (вольный перевод использованного ею выражения на плаутдиче). Пора готовиться к отъезду.

Большинство кивают. Мариша хмурится, но молчит.

Кое-что произошло ночью, говорит Агата, после нашего собрания.

И продолжает: После faspa я пошла в нужник и с северо-западного поля возле дома услышала ужасные стоны. Из-за отечности (она делает паузу и переводит дыхание, позволяя женщинам поразмыслить и насладиться правильным названием ее мучительного недуга) я поставила ноги на старую люльку Аутье, светло-голубую, с ангелочками, ту, которую сделал Курт, до того как надорвал спину.

Я не могла встать посмотреть, что там происходит, но стоны приближались к дому, все ближе, ближе, я слышала лошадей и колеса повозки на

щебне, а скоро раздался стук в дверь.

Оуна, покашливая, энергично кивая, широко раскрыв глаза, дает матери понять, чтобы та не сбавляла темп рассказа.

Агата продолжает: Приехал Клаас.

Агата рассказывает, что Клааса мучила боль в прогнившем коренном зубе. (После смерти отца, бывшего стоматолога колонии, оставившего Агате свои инструменты, она взяла его функции на себя.)

Мариша кивает. Да, говорит она, я знала. Дыхание у него нечистое. Она морщится и машет рукой перед носом.

Саломея спрашивает: А это случилось до того, как он наставил тебе синяков на лице?

Мариша отмахивается от вопроса и, тыча в Агату обрубленным пальцем, велит той продолжать.

Я взялась удалить гнилой зуб, рассказывает Агата, но сначала его нужно было обезболить. Клаас согласился, и прямо перед тем, как наложить ему на лицо тряпочку, смоченную эфиром, я спросила, знает ли он, где остальные двое, вернувшиеся с ним в Молочну, Яш (Антон) и Якобо.

Напились омеловой водки, сказал Клаас, и валяются где-то на залежном поле около конюшни.

Я сказала Клаасу, что они слишком много пьют, рассказывает Агата. Он рассердился и ответил, все талдычат, дескать, сколько он пьет, но никто не говорит, какая у него жажда.

Мариша фыркает. Слышала тысячу раз.

Агата уложила Клааса и принялась за зуб. Она быстро провела удаление и, оставив Клааса без сознания, на его повозке поехала на летнюю кухню, где загрузила сыр, колбасу, хлеб, муку, соль, яйца и воду.

Бракку? — спрашивает Саломея.

Агата кивает.

(Примечание переводчика: бракка — сушеный хлеб, который берут в долгую дорогу. Чтобы он стал мягче, его макают в воду, хранится он очень долго. И еще одно примечание: а Агата видела нас с Оуной на крыше прачечной?)

Агата вернулась домой, разгрузила припасы, спрятала их в спальне и стала ждать, когда Клаас проснется. Уезжая, Клаас спросил у Агаты, почему лошади потные.

Оуна перебивает: Он мог говорить сразу после удаления коренного зуба?

Да, говорит Агата, к тому же помогал себе жестами. Агата ответила, что он, наверно, как всегда, гнал лошадей, когда ехал к ней (еще как гнал,

бормочет Грета), что операция прошла быстро и лошади не успели восстановиться.

Саломея перебивает: Ну теперь, когда ему вырвали зуб, настроение у него, надо полагать, получше.

Мариша вскидывает голову и свирепо смотрит на Саломею.

Прости, говорит Саломея. Но я искренне надеюсь.

Может, Саломея и права, говорит Грета, успокаивая обеих. Может, он и не стал бы буянить, если бы у него не болел зуб. Возможно, Саломея и права.

Я не против, пусть Саломея права, говорит Мариша. Просто не люблю, когда она думает, что права.

Тут женщины единодушны. Они кивают друг другу, обдумывая важную разницу между быть правым и думать, что ты прав.

Аутье нарушает молчание. Может, мы никогда больше не увидим моего отца, говорит она, указывая на себя с матерью.

Женщины молчат, мрачно думая и об этом.

Все мы здесь, на сеновале, оставляем своих, мягко напоминает ей Агата. Мужей, братьев, отцов, сестер, теток, дядьев.

Но не детей, говорит Оуна.

Не всех детей, поправляет ее Саломея.

Взрослых детей, говорит Оуна. У нее, как и у Саломеи, братья в городе.

Но не всех взрослых детей, говорит Агата.

Правильно, говорит Грета.

Грета снимает с Мариши платок и гладит ее по голове.

Мариша склоняется в нежные объятия матери.

Давайте поговорим о грусти, когда окончательно примем план, предлагает Агата.

Лица у женщин суровые, мрачные, отчаянные, напряженные, но они кивают в знак согласия.

Агата напоминает женщинам, что запаслась в дорогу большим количеством еды, которую вечером надо перенести в ее повозку. (Агата — вдова. Ее муж, Курт, умер много лет назад, от страха, как считал Петерс. По его словам, на поляне за дорогой к западу от конюшни, стреляя ворон, уничтожавших его кукурузу, Курт увидел дьявола и тут же упал замертво.

Агата же утверждала — и в этом с ней соглашалась Оуна, а также, хотя и не полностью, Саломея, сыновья Агаты и все взрослые женатые мужчины, в настоящее время находящиеся в городе, — что Курт приставил к виску пистолет

калибра.22 и вышиб себе мозги. В общине говорили, до смерти отца нарфа у Оуны таилась под спудом, поддавалась контролю, но после она впала в чудаковатую мечтательность, странным образом пристрастилась к различным сведениям, а также, кажется, не возражала против статуса парии, дочери дьявола и данного Богом общине бремени. Я же уверяю, мир не знал более легкого, менее докучливого человека.)

Агата спрашивает женщин, что еще они сделали за ночь.

Женщины говорят одновременно. Грета не может удержаться от смеха. Она просит остальных замолчать, чтобы Аутье и Нейтье могли рассказать о своих свершениях.

Аутье и Нейтье взволнованно, но робко улыбаются, им не терпится поделиться новостями.

Аутье начинает, но замолкает и стонет. Из-за синяка ей больно говорить.

Саломея перегибается через стол и похлопывает ее по руке.

Оуна говорит: О, Аутье, leibchen, помолчи. Нейтье все расскажет.

Вот кратко отчет Нейтье: ночью, когда Клаас отправился к Агате удалять гнилой зуб, Аутье выскользнула из дома и побежала к Нейтье. (Отец/

дядя Нейтье, муж Саломеи, в городе с другими мужчинами.) Потом Аутье и Нейтье помчались к конюшне Греты и в спешке, в полной темноте оседлав Рут и Черил, погнали их в колонию Хортица. Там, за местной церковью, около открытой ямы, где сжигают останки животных, а молодежь обеих колоний по средам и субботам проводит досуг, они встретились с братьями Кооп.

Девушки уговорили юношей на ночь приютить Рут и Черил в их конюшне. Рано утром, когда Клаас уедет в город (злой, потому что без Рут и Черил, но радостный, потому что ему удалили гнилой зуб), братья Кооп пригонят Рут и Черил обратно в Молочну, к конюшне Греты. И ее возлюбленные лошадки будут в целости и сохранности и готовы пуститься с женщинами в путь.

Когда Нейтье заканчивает, большинство женщин улыбаются, кивают, одобряют.

Саломея, однако, хмурится. Как вы уговорили братьев Кооп спрятать Рут и Черил в отцовской конюшне? — спрашивает она.

Это было легко, быстро говорит Нейтье, потому что мы им нравимся. Они с Аутье переглядываются.

А как вы вернулись в Молочну, если Рут и Черил остались на конюшне у братьев Кооп? —

спрашивает Саломея.

Коопы нас привезли, с некоторым вызовом говорит Нейтье. Мы сидели за ними на их лошадях, держа их за пояс.

Вы держали их за пояс? — спрашивает Саломея. — Держали за пояс?!

Нейтье кивает, не отводя взгляда от Саломеи.

И как вы отблагодарили братьев Кооп за то, что они спрятали Рут и Черил? — спрашивает Саломея.

Девушки молчат.

Ну? — спрашивает Саломея.

Агата одергивает Саломею. Это не наше дело, говорит она. Что сделано, то сделано, любимые лошади Греты в безопасности, а от девочек не убудет.

Саломея не унимается. Она сердится на Нейтье и, видимо, на Аутье тоже. Она повышает голос: Две кобылы не стоят унижения.

Нейтье что-то бормочет.

Пожалуйста, повтори, говорит Саломея. Я не слышу.

Нейтье твердо смотрит на свою мать/тетку и тихо говорит: Ты множество раз унижалась за меньшее, чем две хорошие лошади.

Что ты имеешь в виду? — кричит Саломея.

Нейтье молчит.

Саломея повторяет вопрос.

Нейтье не отвечает.

Саломея еще раз требует у Нейтье ответа.

Нейтье мотает головой — нет.

Саломея почти кричит: Она всегда делала только необходимое для сохранения мира; не дело Нейтье корить ее за поведение жены и матери, которое, как и ее покорность и боль, не позволило отцу Нейтье дурно с ней, Нейтье, обращаться, и вообще…

Агата поднимает руку.

Нейтье наконец подает голос. Так я должна тебя благодарить? — спрашивает она у Саломеи.

Агата спокойно говорит: Саломея, хватит. Нет времени.

Глаза Саломеи как штыки. Она негромко ругается, тычет пальцем в воздух, дергает перед своего платья, прямоугольную матерчатую вставку, обязательную, чтобы скрывать грудь… Девушки, утратившие девственность, не могут выйти замуж, говорит Саломея. Она в бешенстве.

Оуна осторожно тянет Саломею за рукав, тихо что-то ей говорит, я не могу разобрать. (Мне кажется, вроде того, что законы Молочны еще не законы мира и неважно, сохранят ли девушки

девственность.)

Что ты знаешь о мире? — спрашивает Саломея у Оуны.

Ничего, отвечает та.

Оуне удается успокоить Саломею. Их лица на расстоянии дюйма друг от друга, как будто Оуна вдыхает мир и сладость в разум разгневанной сестры.

Зато честно, говорит Саломея. Но скажи мне, Нейтье, вы рассказали братьям Кооп о нашем плане уйти?

Девушки качают головами.

Точно? — спрашивает Саломея.

Девушки кивают. Точно.

Мы не идиотки, говорит Нейтье.

А я вот не уверена, коли уж вы позволяете братьям Кооп творить с вами все что угодно ради благополучия двух дохлых кляч, снова повысив голос, говорит Саломея.

Агата перебивает. Саломея, повторяет она, хватит.

Саломея молчит, тяжело дышит.

Грета оборачивается к девушкам. Спасибо, говорит она, вы спасли Рут и Черил от продажи. Я всегда буду вам благодарна, но не хотела бы, чтобы вы из-за них рисковали своей добродетелью.

О Господи, мама, восклицает Мариша, о какой добродетели ты говоришь? (Она шипит, произнося слово «добродетель», будто это проклятие.) Добродетель, продолжает она. В жопу. У тебя остались лошади. Мы все знаем, Нейтье и Аутье лишили невинности много лет назад. Давайте будем современными. (Неожиданно. И интересно. Раньше в колонии не стремились быть современными.) И, Саломея, лицемерно и нечестно на одном выдохе требовать «бегства к свободе» от мужчин Молочны, а на следующем делать вид, будто тебя оскорбляют революционные поступки девочек (Не революционные! — возражает Грета.), содействующие нашей цели — уйти. Нейтье и Аутье прибегли к доступным им средствам, чтобы защитить Рут и Черил от продажи, говорит Мариша. Не твоя личная трагедия.

О чем ты? — спрашивает Грета.

Мариша игнорирует ее, по-прежнему обращаясь к Саломее. Откуда, по-твоему, у меня и у Аутье синяки на лице? Что ж, я тебе расскажу. Пойдя за Рут и Черил и обнаружив их пропажу, Клаас очень разозлился. Он потребовал сказать ему, где лошади. Я ответила, что, пока он был без сознания и ему вырывали зуб, лошади выбежали из конюшни, так как кто-то забыл закрыть дверь.

Клаас ударил меня и сказал, что я вру, что это просто смешно. Рут и Черил никогда не убегали, сказал он. Самые ленивые лошади в Молочне. (Неправда, говорит Грета.) Он снова ударил меня. Аутье попыталась вмешаться, и Клаас врезал ей по лицу. Вот так, заключает Мариша. И что? Мы можем продолжать?

Агата треплет Саломею по руке.

Саломея убирает руку и скрещивает руки на груди.

Мариша уязвлена гордостью Саломеи. Нейтье тоже выставила ее лицемеркой. Она безутешна.

Переваливая это бремя, этот мешок с камнями с одной на другую, отталкивая нашу боль, мы теряем время, умоляет Грета. Так нельзя. Нельзя играть с болью, как с горячей картошкой. Давайте соберем ее каждая в себе, говорит она. Давайте вдохнем ее, как воздух, переварим и переработаем в топливо.

(Должен признаться, перевод весьма вольный. Я тороплюсь и рассеян, поскольку мне вспомнилось, как покойный муж Греты любил ездить за двенадцать миль на юг за самогоном, напивался до чертиков и просил кого-нибудь замотать его в одеяло и положить в повозку, надеясь, что лошади сами найдут дорогу домой (всегда на-

ходили). Потом Грета выкатывала его из одеяла и укладывала в постель. Я хорошо понимаю ее сильную привязанность к Рут и Черил и вспоминаю Фринта, его большие глаза, длинные ресницы, бархатный нос.)

Кто-то поднимается по лестнице. Эрнест Тиссен! Он едва ходит, какие уж там приставные лестницы, и ему очень тяжело, он хрипит, хватая ртом воздух.

Оуна бросается помочь ему преодолеть последние несколько ступенек.

Эрнест спрашивает, что мы делаем у него на сеновале. Вы ангелы? — спрашивает он. — Вы заблудились? Вы поможете мне помыться? Он задыхается, но все-таки урывками смеется.

Оуна помогает ему сесть на тюк.

Что вы, сучки, замышляете? — спрашивает он женщин (на еще более архаичном диалекте нашего архаичного языка).

Одряхлев телом и разумом, Эрнест Тиссен стал регулярно использовать бранные слова, и женщины не реагируют. Когда-то вежливый, сдержанный Эрнест, проработав весь день на пашне, под вечер, прихватив керосиновые лампы, чтобы было видно, куда бежать, на своем рапсовом поле играл в салки с покойной женой

Анни и детьми.

Агата, тоже дыша с трудом, встает, подходит к Эрнесту (они двоюродные брат и сестра, одного возраста) и садится рядом с ним на тюк.

Ах, Эрнест, говорит она, стареем мы, правда?

Эрнест кладет голову ей на плечо, и она приглаживает его растрепанные седые волосы. Он спрашивает, не дьяволы ли эти женщины.

Нет, говорит Агата, мы твои друзья.

Он спрашивает, не замышляют ли женщины сжечь его сарай.

Нет, Эрни, говорит Агата, мы ничего не замышляем, просто женские разговоры.

Он, похоже, раздумывает, затем спрашивает, не поможет ли Агата ему помыться.

Мейал предлагает отвести Эрнеста в дом, помыть его, взять с летней кухни немного хлеба и колбасы, накормить Эрнеста, а остальное вместе с растворимым кофе принести на сеновал женщинам.

Проследишь, чтобы вода была теплой, но не горячей, не кипяток? — спрашивает Агата.

Мейал кивает и вместе с Эрнестом медленно спускается по лестнице.

Агата, уперев руки в бока, стоит на верхней ступеньке лестницы и смотрит. Там около крыльца

растет мята, кричит она вслед. Можешь немного нарвать и добавить в теплую воду. Эрнесту понравится.

Агата подходит к окну и долго смотрит, как Мейал и Эрнест идут к дому. (Я вдруг понимаю, она прощается с Эрнестом, возможно, навсегда.)

Наконец Агата резко отворачивается и обращается к женщинам. Мы уйдем сегодня вечером, затемно, чтобы, нас не увидели в Хортице и Хьякеке, когда будем идти мимо. Согласны? — спрашивает она.

Женщины кивают.

Оуна интересуется у Агаты: А как насчет колоний за Хортицей и Хьякеке?

Агата хмурится. Каких еще колоний? — переспрашивает она.

Я и спрашиваю, отвечает Оуна. Каких колоний?

Сказать тут нечего, говорит Агата, мы не знаем, что за ними, мы там не были.

Мариша говорит: Значит, мы не знаем, увидят нас или нет, поскольку не знаем, кто еще может нас увидеть?

Да, говорит Агата. Но, пока темно, мы постараемся пройти как можно больше, а днем спрячемся и отдохнем.

А где мы спрячемся? — спрашивает Грета. — С упряжками, со скотиной, маленькими детьми, вечно пищащими цыплятами, а Грант еще будет постоянно называть свои числа?

Грета, нетерпеливо говорит Агата, ты же знаешь, у нас нет ответов на все вопросы. Мы никак не можем знать, где будем прятаться, с кем или с чем столкнемся, уйдя из Молочны. Давай не будем тратить время и топтаться на неизвестном.

Но это и значит думать, говорит Оуна. А мы хотим получить свободу, в том числе чтобы думать. На том, что, с нашей точки зрения, существует или истинно, топтаться не надо.

Агата не обращает внимания на Оуну. Что у нас еще есть в дорогу? — спрашивает она.

Ну, надо взять животных — свиней, коров, кур, чтобы не голодать, говорит Оуна, и, конечно же, Рут и Черил (Еще бы не Рут и Черил! — смеются женщины), кроме того, лошадей других женщин.

Нам также понадобятся корм для животных и чистое сено, добавляет Грета.

Но для чьих животных? — спрашивает Мариша.

Какая разница? — фыркает Саломея. Чтобы выжить, нам нужно взять животных.

Слово берет Мариша. Значит, у тебя нет моральных возражений против того, чтобы нам сделать все для выживания, даже если придется воровать? — спрашивает она Саломею.

(Мы с Оуной переглядываемся: Фринт.)

Конечно, нет, отвечает Саломея, кроме того, животные принадлежат не только мужчинам, но и нам.

Согласна, говорит Мариша. Но тогда не надо лицемерить, когда речь заходит о том, что в определенных обстоятельствах другие женщины делают, с их точки зрения, необходимое для выживания.

Спасти двух старых кобыл от продажи, предоставив свое тело недоразвитым братьям Кооп, не вопрос выживания, горячо говорит Саломея. (Значит, Саломея верит в эволюцию? — думаю я.) А вот животные, когда ты отправляешься в долгий, полный неизвестности путь черт знает куда, несомненно, вопрос выживания. Ты когда-нибудь слышала про Ноев ковчег?

А ты слышала про Марию Магдалину и ее друга Иисуса? — парирует Мариша.

Агата опять с трудом встает. Каждое ее слово источает яд. Я. Сыта. Этим. По горло. Хватит! Вы понимаете, что мы сегодня вечером собираемся

бежать? Что нас много, логистика сложная, вариантов множество, а время уходит? Ради Господа нашего и бесценного Спасителя Иисуса Христа, пожалуйста, заткните глотки!

Оуна шепчет: Мы не бежим, мы не крысы, удирающие из горящего амбара, мы приняли решение уйти и…

Хлопнув ладонью по столу, другую руку Агата кладет на сердце и молча падает на свой табурет/ведро для корма.

Оуна бросается к матери. Прости, говорит она. Обещаю, я буду молчать. Она снимает платок, макает его в бочку с водой и прикладывает ко лбу Агаты. (По ее лицу и плечам каскадом низвергаются волосы — слова, запомнившиеся мне по тюремной литературе, приношу свои извинения.)

Женщины столпились вокруг Агаты. Широко раскрыв глаза, она улыбается, кивает, сосредоточенно дышит.

Все мы — женщины и я — ждем.

(Примечание переводчика: в колонии нет лекарства для Агаты, только эфир и белладонна в виде спрея, ее используют, когда нужно обездвижить коров и лошадей, та самая, которую насильники применяли к девушкам и женщи-

нам Молочны.)

Грета молится.

Саломея и Оуна каждая держат руку Агаты и подлаживают дыхание друг к другу. Мариша и девочки молчат, смотрят.

У Агаты немного восстановилось дыхание, она может говорить. Yoma leid exhai, говорит она. (Непереводимо.)

Женщины облегченно смеются.

На чем мы остановились? — спрашивает Агата.

Женщины, похоже, боятся говорить.

Я поднимаю руку.

Пожалуйста, говорит Агата, просто скажи уже.

Я сообщаю, что после вчерашнего собрания мне удалось раздобыть сейф из кооператива, динамитную шашку и карту мира. (Оставив вчера Оуну на крыше прачечной, я почувствовал себя бодрым, смелым, это поскольку я не спал, кроме того, меня изнутри переполняла чистая радость, сладкое воспоминание о нашем разговоре, близости.)

И секстант, добавляю я. Правда, не знаю, окажется ли он полезен.

Секстант! — повторяет Оуна и улыбается. — Для измерения углов?

Я пожимаю плечами.

Женщины, кроме Саломеи, кажется, напуганы. Они смотрят на меня.

Грета поднимает руки. Аминь, говорит она.

Динамит? — спрашивает Мариша. — Ты о чем?

Чтобы взорвать сейф, отвечает Саломея. Достать наши деньги.

Оуна спрашивает: А что будет, когда мужчины вернутся и хватятся сейфа?

Можно свалить вину на братьев Кооп, говорит Саломея.

На нее никто не обращает внимания.

А если оставить из них десятину для церкви? — говорит Аутье.

Саломея шипит.

Я серьезно, говорит Аутье.

Где ты взял динамит? — спрашивает Мариша, косясь на меня поверх поврежденных мягких тканей лица.

С его помощью мужчины колонии отпугивают аллигаторов в северной лагуне, объясняю я. Я завернул его в свиную кожу, как колбасу, говорю я женщинам, так вряд ли найдут.

А динамит не разорвет в клочья заодно и деньги в сейфе? — спрашивает Мариша.

Об этом я не подумал, признаю я. Наверно, про-

ще попросить кого-нибудь подобрать к нему код.

Да, говорит Саломея, но кого? Не забудьте, мы будем прятаться в сельской местности, а не гулять по городу, где на улицах выстроились бесчисленные конторы, вскрывающие сейфы.

Это правильно, говорит Агата. Вряд ли на какой-нибудь пустынной грунтовой дороге нам встретится человек, рекламирующий свой бизнес по разгадыванию кодов.

Верно, говорит Грета. В таком случае его нельзя будет назвать хорошим предпринимателем.

Хотя необязательно плохим мастером, добавляет Оуна.

Верно, говорит Агата. Далее. Она улыбается, раскачивается взад-вперед. Говорит: Мы знаем, что город, если быстро ехать на повозке, примерно в семи часах езды к югу от нас. Весной, по распутице, дольше.

Знаем? — спрашивает Оуна.

К такому выводу пришли мужчины, рассказывавшие о своих поездках, говорит Агата. (Саломея, еле слышно: Пришли они к выводу.) Но мы в город не ездим, продолжает Агата.

Да уж, город, говорит Грета и спонтанно угощает женщин историей о смывном городском туалете (Грета, к моему удивлению, ездила в

город по крайней мере раз в жизни, догадываюсь я, хотя не знаю, при каких обстоятельствах): она нажала на ручку и из-за громкого отсоса воды отскочила от унитаза, как будто тот — граната, а она только что выдернула чеку.

Грета, говорит Агата, чего ты все тормозишь?

Не знаю, признается Грета и поправляется: Волнуюсь.

Все мы волнуемся, говорит Агата. От волнения не уйти.

(Я поднимаю взгляд на Оуну, которая убирает волосы в косынку. Из уголка рта торчит черная заколка-невидимка. Нижняя часть руки, когда она тянется к волосам, очень гладкая, белая, как киль нового каноэ.)

Агата продолжает: Нам придется найти водоем и, наверно, какое-нибудь пастбище для животных, а еще пересечь границы.

Какие? — спрашивает Мариша.

Женщины молчат.

Я опять говорю: Я завернул в карту большой кусок сыра и прикрыл обычной оберточной бумагой. Сейф в повозке Греты, под задним сиденьем, можно ехать. Еще я положил немного лука, мыла и доски, если колеса увязнут в грязи или нужно развести костер. (Я смотрю на Оуну. Кажется, она

мной довольна.)

А динамит и карта? — спрашивает Оуна. — Колбаса, сыр?

Тоже там, говорю я. В шляпной коробке спереди.

А Рут и Черил уже вернули в конюшню Греты? — спрашивает Агата.

Да, говорит Нейтье, Коопы пригнали их сегодня утром…

Хорошо, да-да, перебивает Агата. Давайте больше не будем об этом.

Оуна выражает беспокойство, что у меня могут быть неприятности, меня могут счесть соучастником. Ведь Клаас теперь знает, ты был с женщинами на сеновале, якобы учился шить, говорит она. Когда женщины и сейф исчезнут, винить будут Августа. Кто еще мог знать, где ключ? Уж конечно, не женщины. Августа признают зачинщиком. Вдруг Петерс обвинит и накажет Августа? Или отлучит?

(Я тронут заботой Оуны обо мне. Меня не волнует, ни что меня признают виновным — я виновен, — ни что выгонят из колонии. Зачем мне оставаться, если здесь не будет Оуны?)

Но карта, говорит Саломея, к моему облегчению меняя тему. Мы не сможем ее прочесть.

Нейтье спрашивает у матери, слышала ли та новости.

Какие новости? — не понимает Саломея.

Север. Восток. Запад. Юг, говорит Нейтье.

Агата, снова раскачиваясь, улыбается и одобрительно кивает. Остальные поджимают губы и качают головами.

Я осмеливаюсь еще раз взять слово и говорю женщинам, что составил легенду.

Женщины вежливо улыбаются в ожидании объяснений.

Для карты, говорю я, я нарисовал на карте звездочки, соответствующие значкам легенды.

Тишина.

Звездочки нарисовал, глупо повторяю я.

Как Микеланджело, говорит Оуна, полуулыбаясь мне.

Вы знаете цифры? — спрашиваю я женщин. Мне очень стыдно задавать им такой вопрос.

Да, знаем, говорит Грета. Конечно, знаем.

Ой ли? — говорит Мариша.

Девочки знают, уточняет Грета.

Аутье и Нейтье кивают.

Агата объясняет: Август, говорит она, мы умеем писать свои имена. Больше ничего. И чтобы написать мое имя, мне нужно больше времени, чем

высадить рапс.

Грета смеется. И собрать урожай следующей осенью, говорит она.

Мариша уточняет, что вообще не умеет писать свое имя, у нее не было времени учиться.

Я потом тебе помогу, предлагает Оуна. Когда у нас будет больше времени.

Мариша молчит, думает, затем царственно кивает.

Принимаю, говорит она.

А что со значками? — спрашивает меня Оуна. — Что они означают?

Реки, дороги, большие и маленькие, деревни, города, границы, железные дороги, отвечаю я. На карте только эта часть света, эта небесная сфера.

Это карта неба? — спрашивает Мариша.

Это карта Америк, говорю я.

Мариша, презрительно: Тогда почему ты говоришь «небесная сфера»?

Оуна спрашивает меня: Как ты думаешь, в каком направлении нам нужно идти?

Не успел я ответить, как на лестнице шум.

Мейал вернулась с продуктами, но она взволнована. Ей сказали, на севере колонии бушует огонь и мужчины пораньше вернутся из города спасать животных.

Должны ли мы предположить, что они и нас будут спасать? — спрашивает Оуна.

Старшие хрипло смеются, правда, коротко. Агата умолкает, чтобы перевести дыхание.

Тогда пошли, говорит Мариша. Надо идти. Она резко встает.

Остальные тоже поднимаются с ведер.

Мы собирались уйти, когда стемнеет, возражает Грета.

Нет времени ждать, говорит Мариша и спрашивает у Мейал: Кто тебе сказал про пожар?

Мейал отвечать не хочется.

Братья Кооп? — спрашивает Аутье.

Мейал кивает.

А что они делают в Молочне? — спрашивает Саломея.

Мейал пожимает плечами.

Знаете, я не верю про пожар, говорит Саломея. Я думаю, братья Кооп нас провоцируют. Понимают, что-то затевается, и заставляют нас раскрыть карты, чтобы мы сделали ход, ушли раньше и нас поймали. Они хотят быть героями, говорит Саломея. Королями. Разве вы чувствуете запах дыма? Разве потемнело небо? Занервничали животные? Замерли мухи? Птицы подняли гвалт? У Мейал приступ аллергии? Нет, отвечает она на

свои вопросы. Нет на все. Никакого пожара нет.

Мариша обращается к Аутье. Вы с Нейтье знали, что Коопы в Молочне? — спрашивает она.

Аутье и Нейтье молчат и испуганно отводят глаза.

Только не говорите мне, что вы им рассказали про наш уход, говорит Саломея. Что, черт возьми, с тобой такое?

Аутье начинает плакать.

Не надо было, говорит Нейтье. Братья Кооп предложили нам омеловой водки, мы так взбудоражились. Почувствовали себя такими смелыми. Простите. Пожалуйста.

Аутье сквозь слезы говорит: Коопы не смогут на нас донести. Они просто не успеют доехать к мужчинам в город, даже если быстро, даже если семь часов в один конец.

Я слышала, что у некоторых мужчин в Хортице есть телефоны, заявляет Мейал.

Но не у братьев Кооп, говорит Нейтье. Если бы они у них были, они бы нам показали.

Я прокашливаюсь. Даже если у братьев Кооп есть телефоны, говорю я, здесь нет приема. За сигналом надо подниматься на вершину Цвайбахского холма.

О чем ты говоришь, Август? — спрашивает Ага-

та. — Каким сигналом?

Прежде чем я успеваю ответить, Мейал напоминает, что это в любом случае не проблема, поскольку у мужчин Молочны нет телефонов, они не могут принять звонок.

Я опять поднимаю руку и говорю: У Петерса есть.

Что? Нет! — восклицает Грета.

У Петерса телефон уже много лет, объясняю я. Он играет на нем в игры, пока другие мужчины работают в поле.

И все-таки, говорит Агата, если бы у братьев Кооп был телефон, им бы пришлось забираться на Цвайбахский холм, так?

Оуна, бледная, держится за живот.

Грета молится.

Агата молчит.

Нейтье громко уверяет: Нету у них телефонов! Они бы похвастались, если бы были.

Женщины кивают, признавая ее правоту.

Агата говорит: Итак, братья Кооп ждут, когда мы сделаем свой ход, и отправятся в город донести на нас мужчинам, а может быть, сами помешают нам уйти. Утверждая, что пожар на севере Молочны, они думают тем самым заставить нас двинуться на юг, в сторону города, где

находятся мужчины, тут ловушка.

Ну тогда, говорит Оуна, мы обречены.

Разумеется, мы не станем обращать внимания на бред про пожар, говорит Мариша. Животные сказали бы нам, если бы это было правдой. Мы пойдем на север, подальше от мужчин.

Но вообще-то братья Кооп могут помешать нам уйти, говорит Грета.

Не могут, говорит Саломея. Как могут двое доходяг, у которых вместо мозгов дерьмо, помешать всем нам уйти?

У них есть ружья, говорит Мейал. Кнуты.

У нас тоже, говорит Саломея.

Нет, говорит Агата, конечно, нет. У нас нет ни ружей, ни кнутов. Ладно, у нас есть вожжи, но мы не собираемся пороть людей.

Она никогда не била даже Рут и Черил, а они лошади, вставляет Грета.

Агата хмуро смотрит на нее, ей надоело. Если бы не Рут и Черил, Аутье и Нейтье не пришлось бы унижаться, услаждая братьев Кооп, братья Кооп не опоили бы Аутье и Нейтье омеловой водкой, а Аутье и Нейтье, не опьянев, не проговорились бы, что женщины собираются уйти из Молочны.

Я могу достать ружья, говорит Саломея. А еще лучше, если бы их достал нам Август. Раздобыл

же он динамит. Сможешь? — спрашивает она.

У меня язык прилип к небу. Я деру волосы, они разлетаются.

Нет, повторяет Агата. У нас не будет ни ружей, ни кнутов.

Меня еще кое-что беспокоит, говорит Мариша. Коопы могут собрать мужчин Хортицы и Хьякеке, чтобы те помогли им помешать нам уйти.

Грета посмеивается. Мужчин Хортицы и Хьякеке, говорит она, не интересуют женщины Молочны, только собственные. Если мы уйдем, они решат, что одержали победу над мужчинами Молочны. Они будут торжествовать несколько поколений.

Женщины серьезно, единодушно кивают.

А почему тогда Коопы из Хортицы так хотят помешать уйти женщинам Молочны? — спрашивает Саломея. — Им-то какая разница? Она смотрит на Нейтье и Аутье.

Нейтье отвечает: Они хотят на нас жениться.

Саломея поднимается с ведра. Ты не выйдешь замуж ни за Коопа, ни за кого другого из Хортицы, точка, говорит она Нейтье.

Аутье, оборонительно: Юношам и девушкам Хортицы запретили жениться друг на друге в течение пяти лет, чтобы не рождались уроды.

Поэтому юноши Хортицы ищут жен в Молочне и Хьякеке. Так нам сказали Коопы.

Я выйду замуж за кого захочу, говорит Нейтье.

Ноздри у Саломеи ходят ходуном. Значит, говорит она, мужчинам Хортицы и Хьякеке все-таки интересны женщины Молочны. Нельзя, чтобы они увидели, как мы уходим. Город на юге от Молочны. Хортица и Хьякеке на востоке. Мы пойдем на север.

* * *

На сеновал по лестнице поднимается Нетти/Мельвин. Она молча стоит перед женщинами. Агата просит ее сказать, передать нам новости с земли.

Нетти смотрит в окно и говорит: Детишки готовы (она использует слово kjinja). Помыты. Сменная одежда в бочках. Белье в бочках. Обувь в бочках. Шапки в бочках. Накормлены.

Спасибо, Мельвин, говорит Агата. Мельвин впервые за сто лет улыбается — ее наконец-то назвали новым именем. Она улыбается открытому окну — безмолвное общение с солнечным светом Молочны, теперь принадлежащим ей.

Грета спрашивает у Мельвина, готов ли Корнелиус, упаковали ли его коляску.

Он с нами все-таки не пойдет, отвечает Мельвин окну. Его мать из лагеря «не делать ничего», и у него нет выбора, он останется с ней.

Аутье и Нейтье хмурятся и стонут. Вся молодежь Молочны, особенно девушки, любят Корнелиуса, его шутки, представления, выдумки.

Корнелиус и его мать могут передумать, уверяет Агата девушек. Может, они присоединятся к нам в другом месте.

Нет, говорит Мариша, не присоединятся, это будет невозможно. После возвращения мужчин ни одна женщина не сможет уйти из колонии. И Мариша обращается к Аутье и Нейтье. Когда-нибудь вы увидитесь с Корнелиусом на небесах, говорит она, и тогда он будет ходить. Он побежит вам навстречу, и вы обниметесь.

Девушки робко кивают. (Мне кажется, меньше всего они думали об объятиях с Корнелиусом.)

Агата опирается руками о стол и спрашивает: Мельвин, ты тоже готов ехать?

Мельвин не отвечает. Женщины ждут.

Нет, говорит наконец Мельвин. Не готов.

Женщины шумно выражают тревогу, некоторые хотят что-то сказать.

Мельвин говорит: Но я пойду с вами.

Женщины улыбаются и с облегчением вздыха-

ют. Грета спрашивает: Так кто же из нас в конце концов скажет, что мы готовы?

Я, отвечает Саломея.

Мельвин, говорит Агата, пожалуйста, возвращайся к детям и жди с ними на залежном поле около школы.

Она советует Мельвину занять детей какой-нибудь игрой, например, в Летучего Голландца, и посматривать на коровью тропу, идущую вдоль поля. Там, уходя из Молочны, их найдут женщины. У нас будет по меньшей мере десять повозок и лошадей к ним, говорит Агата.

Включая Рут и Черил, говорит Грета.

Да черт с ними, мама, пожалуйста, говорит Мариша. (Мы с Оуной едва заметно переглядываемся. Мне кажется, она напугана вспышкой не меньше моего. Но Грета просто ненадолго закрывает глаза и опускает подбородок.)

Самые сильные из нас, говорит Агата, пойдут рядом с повозками вместе с животными, в том числе жеребятами, которые послужат нам тягловыми мулами, и детьми, если те не угомонятся и захотят скакать впереди.

Оуна улыбается и повторяет: Скакать впереди.

Мельвин кивает и говорит Саломее: Твой Аарон пропал.

Саломея смотрит на Мельвина, на остальных женщин. Встает. Что? — спрашивает она. — Что ты хочешь сказать?

Он не пришел на летнюю кухню обедать вместе с другими детьми, отвечает Мельвин.

Но это не означает, что он пропал, говорит Саломея и идет к окну. Я попросила его подготовить упряжки, говорит она, напоить лошадей, разгладить им потники и почистить копыта. Так он, наверно, на конюшне. Он не пропал.

Мельвин говорит окну.

Я не слышу его слов.

Саломея берет Мельвина за руку. Обращайся ко мне, говорит она. Не к окну. Пожалуйста. Я не сделаю тебе ничего плохого. Я тебе не враг!

Но Мельвин боится Саломеи и пятится назад.

Тебе надо успокоиться, говорит Агата Саломее и обращается к Мельвину. Все в порядке, с тобой ничего не случится, говорит она. Аарон найдется.

Но мы сейчас уходим, скоро, говорит Саломея. Я без него не пойду.

Всего минуту назад Саломея уверяла, что готова идти, едва сдерживаясь, напоминает Мариша. Мы все кого-то оставляем. Грустно, тяжело. Ты в каком-то особом положении, тебе надо давать разрешение закатывать тут истерику?

Саломея спускается по лестнице.

Мельвин шепчет, опять обращаясь к окну. Дети сказали мне, говорит она, что Аарон не хочет уходить, что считает идиотизмом уходить с маленькими детьми и женщинами.

Саломея спустилась с лестницы на пол сарая. Спрыгнула со срединной перекладины. Мы слышим стук.

Саломея, вернись! — кричит Агата.

Оуна тоже кричит Саломее: Аарон найдется. Он, конечно, пойдет с нами.

Мельвин неподвижно стоит у окна, говорит. Саломея бежит, говорит он, юбка развевается, она наклонилась от ветра, поднимает пыль.

Надо сохранять спокойствие, умоляет Агата женщин. Саломея вернется, говорит она. Она найдет Аарона и убедит его пойти с нами. Мельвин, ступай к детям, отведи их на поле, чтобы поиграли.

А если ей не удастся убедить Аарона? — спрашивает Оуна. — Без него она не пойдет. Что тогда будет с Мип?

Агата кивает. У нас возникли проблемы, признает она. Дай подумать.

Может, Саломея позволит мне как временному опекуну взять Мип, говорит Оуна.

Слова расплываются у меня на странице.

Женщины говорят слишком быстро, я не успеваю. Они составляют план.

Нам списки ни к чему, говорит мне Агата, но я все-таки должен поспевать и написать как можно больше списков, а мальчики постарше, вроде Аарона, если он найдется и пойдет с женщинами, смогут их нам прочитать.

Какие списки? — спрашиваю я у Агаты.

Добрых дел, отвечает она, воспоминаний, планов. Все, что, по-твоему, входит в хороший список, пожалуйста, записывай. Она смеется. (Под смехом ее дыхание прерывистое, затрудненное.) Спасибо за твои труды, Август, говорит Агата. Йон и Моника гордились бы тобой. (Это имена моих родителей, отлученных много лет назад, умерших, пропавших. Долгая история, но хорошо известная жителям Молочны.) Да благословит тебя Бог.

Слезы текут по моему лицу. Конечно, я составлю список.

Женщины встают, собираясь уходить с сеновала.

Агата тяжело дышит, и Оуна смотрит на нее с беспокойством. Мама, говорит она, путешествие будет трудное, опасное.

Агата смеется. Я знаю, говорит она и добавляет: Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в оный! Затем тихо обращается к Оуне: Меня похоронят не в Молочне. Помоги мне сесть в повозку, и я умру в пути.

Оуна смеется, но глаза ее наполняются слезами. Я едва могу писать.

Женщины по очереди помогают друг другу спуститься по лестнице.

А как же Август? — спрашивает Оуна. (Примечание: последние ее слова, которые я слышу.)

Я улыбаюсь, что-то бормочу, машу рукой. Я смешон.

Агата спускается последней. Я встаю.

Агата поворачивается ко мне и улыбается. Август, говорит она, разве ты не женился бы на моей Оуне?

Я тоже улыбаюсь Агате. Ничего так не хотел бы, говорю я. Я долгие годы множество раз просил Оуну, просил ее руки.

И она всегда говорила «нет»? — спрашивает Агата.

Я опять улыбаюсь и кричу Оуне: Еще для тебя сведение, последнее, Оуна… Я всегда буду любить тебя!

Я слышу, как Оуна смеется, но не вижу ее. Она

уходит.

Агата спускается по лестнице, уже почти внизу.

Она тоже любит тебя, Август, говорит Агата, переводя дыхание. Она всех любит.

* * *

Как мне жить без этих женщин?

Сердце мое остановится.

Я постараюсь обучить мальчиков Оуне. Она будет моей Полярной звездой, моим Южным Крестом, моим севером и югом, западом и востоком, моими новостями, направлением, картой и взрывчатыми веществами, моим ружьем. Я буду писать ее имя в начале каждого поурочного плана. Я представляю себе школы в меннонитских колониях по всему миру, как исчезает солнце, незаметно отступая, чтобы поделиться своим теплом и светом с другими частями мира, и все принадлежит всем, и наступает время домашних забот, ужина, молитвы, сна, и дети просят учителя рассказать еще одну историю про Оуну, сначала бывшую дочерью дьявола, а потом ставшую самым любимым чадом Божьим. Душой Молочны.

И врата ада не одолеют ее. Когда старейшины

и епископы меннонитских колоний будут излагать историю Савла и его обращения, они в то же самое время будут обращаться к истории об Оуне, повторять, петь ее, рассказывать о непослушных волосах, перепачканном подоле платья, легком смехе, любви к сведениям (у стрекоз шесть ног, но они не умеют ходить!), подобных для нее, а может, и для всех обитателей Молочны снам, когда чей-то сон становится для нас правдой, когда бредовые видения Менно Симонса и есть мир, когда гневные толкования Петерса и есть наш узкий путь, а сведения — в мире, в мире, к которому мы не принадлежим, или не можем принадлежать, или, возможно, все-таки принадлежим, их скрывают от нас, и реальные сведения приобретают мифическую важность, внушают благоговейный трепет, это дары, самиздат, валюта, это евхаристия, кровь, запретное; представьте себе: плод может помочь излечить больное материнское сердце или любой другой орган, даже мозг, послав туда стволовые клетки; и еще послушайте: в найденных позже сердцах двух женщин, страдавших сердечной недостаточностью, годы спустя после того, как они дали жизнь своим сыновьям, были обнаружены клетки, образовавшиеся из клеток мужского зародыша… и я заклинаю любовь Оу-

ны к точности, но еще к таинственным рекам и мифу, к безумию, скачкам впереди, к слушанию, одиночеству, поднятым к созвездиям кулакам, крышам и прачечным, и сияющие глаза, глаза, которые сияют, когда история захватывает и жестокость становится слабым огнем, а потом уходит.

Агата протягивает руку и треплет меня по колену. Теперь я выше ее и, наклонившись, касаюсь ее плеча. Она спускается, кладет свою руку на мою. Я напоминаю ей, что надо держаться за лестницу обеими руками.

Она просит меня остаться на сеновале и подождать Саломею, та вернется сюда, когда будет искать женщин.

Скажи ей, говорит Агата, что мы собираемся за школой.

А Аарон? — спрашиваю я.

Ответа нет. Женщины ушли с сеновала.

* * *

Список, как просила Агата.

Солнце.
Звезды.
Ведра.

Рождение.
Урожай.
Числа.
Звуки.
Окно.
Сено.
Фринт.
Лучи.
Тщета.
Моя мать.
Мой отец.
Язык.

Мягкие ткани. (Их прочность и способность к регенерации, даже когда они защищают твердые ткани, жесткий эндоскелет человеческого тела.)

Колония. (Ее часто определяют не тем, чем она является. Слышу насмешливый голос Мариши: Что ты несешь, Август?)

Сон. (О домах, построенных из камней, их легко разобрать за ночь и увезти в фургоне, чтобы собрать в другом месте, а затем снова разобрать, и при каждой разборке известковая составляющая камня чуть эродирует, пока дом не становится таким маленьким, что уже и не дом вовсе. У меня во сне за дома отвечала Оуна, и, похоже, она толь-

ко и вела публичные дебаты о том, что лучше: восстанавливать их, резервировать или дать им превратиться в пыль, как положено природой. Если дома создавали для разборки, временными, и при регулярном демонтаже они распыляются, то, может, так тому и быть? Они ведь для того и созданы. Если мы не хотим исчезновения наших домов, их надо иначе строить. Мы же не можем сохранить дома, построенные для того, чтобы они исчезли. Некоторые присутствовавшие на дебатах в моем сне не соглашались с Оуной. Они говорили: Это наследие, или объект наследия, артефакт, физическое напоминание о том, что было. И Оуна, улыбаясь, отвечала в моем сне: Вовсе нет, это совсем другое!)

Мухи.
Навоз.
Ветер.
Женщины.

Мой список лениво заваливается (list — listless — list). Этимологическое происхождение: liste (*средне-англ.*) означает «желание». Отсюда же и слово listen (слушать) [8].

---

[8] Примечания: 8
На самом деле все эти созвучные слова имеют разное происхождение.

Но вот я слышу голоса, кто-то поднимается по лестнице. На сеновал взобрались девушки, Аутье и Нейтье. Они с изумлением на меня смотрят. Прячьтесь, быстро, говорят они.

7 июня
Август Эпп, после собрания

Пока я, спрятавшись, сижу в тюке с сеном:

На сеновале появились братья Кооп. У них на удивление низкие, мужские, взволнованные голоса. Аутье и Нейтье заговорили с мальчиками — тихо, со смехом, прерывисто дыша. Изнутри тюка я плохо слышал, в уши налезла сухая трава. Юноши и девушки легли попарно в углу сеновала, напротив меня, под самыми низкими стропилами. Стали целоваться. Девушки смеялись. Что-то бормотали. Велели юношам закрыть глаза. Затем наступила тишина. Я ничего не слышал. Ничего не видел. Потом услышал знакомый голос. Саломея.

Приближающиеся шаги. С лица кто-то смахнул сено. Саломея!

Она велела мне вылезать из тюка.

Я выполз на четвереньках, боясь того, что увижу.

Аутье и Нейтье стояли рядом с Саломеей и, глядя на меня, вытаскивали из волос сено. Головы непокрыты, волосы спутаны. Платки они

элегантно повязали на запястья, белые носки скатали на щиколотках. За ними неподвижно лежали братья Кооп — спящие или мертвые. Я вопросительно посмотрел на Саломею.

Она сказала, что вырубила их белладонной. Что подговорила девочек, Аутье и Нейтье, пообещать Коопам близость, заманить на сеновал и пошуметь, так она сможет незаметно прокрасться. И теперь братья Кооп не смогут добраться до города и донести на женщин.

Саломея велела девушкам идти к повозкам, которые ждали за школой. Пора было уходить.

Девушки робко помахали мне на прощанье. До свидания, господин Эпп, через плечо сказали они. Спустились вниз по лестнице и с ликующим смехом побежали прочь от сарая, прочь из Молочны.

А где Аарон? — спросил я у Саломеи.

Она ответила, что нашла его, он уже в повозке, ждет.

Ты убедила его уйти? — спросил я.

Нет, сказала она, я тоже воспользовалась белладонной.

У меня широко открылись глаза. Я начал что-то говорить.

Мне пришлось, сказала Саломея, он не может

здесь остаться. Все равно как если бы я схватила спящего ребенка и вынесла из горящего дома.

Так ли? — спросил я. — А если он передумает?

Саломея замотала головой. Тогда будет уже поздно, сказала она, мы уже уйдем. Он пойдет со мной. Мой ребенок.

Я кивнул.

Она сказала мне, что вырубила белладонной и Янц-со-Шрамом. Пришлось, повторила она. Она собиралась в город сказать мужчинам.

Разве она знает дорогу? — спросил я.

Нет, ответила Саломея, конечно, нет.

Но тогда угроза пустая, сказал я. Белладонна была не нужна.

Я испугалась, сказала Саломея, наш воин, наш капитан.

Я хотел сказать ей, что, если Аарон все-таки опять убежит от нее и вернется в Молочну, я за ним присмотрю. Я буду ему споспешествовать, как у нас говорят.

Саломее надо было идти. Вместо Аарона она попросила меня присмотреть за братьями Кооп. Они должны оставаться без сознания семь-восемь часов, чтобы женщинам хватило времени уйти из Молочны. Саломея протянула мне коробку со спреем белладонны.

Если они проснутся слишком рано, добавь, сказала она. Но не дай бог старейшины найдут это у тебя. Саломея рассмеялась.

Где ты ее взяла? — спросил я.

Белладонна всегда хранится в коровнике у Петерса, ответила она.

В коровнике у Петерса? — переспросил я. (Это хорошо или плохо, что белладонна находится в ведении Петерса?)

Саломея повернулась и пошла к лестнице. До свидания, Август, сказала она.

Я попросил ее подождать еще минутку. Подошел к ней и положил ладонь на полную руку, выше локтя. Она не дрогнула и выдержала мой пристальный взгляд.

Пожалуйста, позаботься об Оуне и ее ребенке, сказал я.

Саломея кивнула и обещала. Оуна ей сестра, ее кровь, а заодно и ребенок.

Саломея начала спускаться. Нам правда нужно торопиться, сказала она.

Но вы не бежите, сказал я. Вы не крысы, удирающие из горящего здания.

Саломея опять рассмеялась. Верно, сказала она. Мы просто решили уйти.

«Но не Аарон», хотел сказать я. Саломея, ска-

зал я.

Что еще, Август? Разве ты не видишь, я уже ухожу. Она рассмеялась.

Не возвращайся, сказал я. И никто из вас пусть не возвращается.

Она снова рассмеялась и кивнула. Она будет скучать по мне, я хороший учитель и у меня в волосах сено, сказала Саломея.

О, подожди! — крикнул я.

Август! — раздраженно ответила Саломея.

Я бросился к столу, к куску фанеры, схватил свои блокноты, протоколы и побежал обратно к лестнице.

Пожалуйста, передай Оуне, сказал я.

Но ты же знаешь, она не умеет читать, сказала Саломея. Что ей с ними делать? Пустить на растопку?

Их прочтет ее ребенок, сказал я. Пусть она их сохранит, пусть не пускает на растопку.

Саломея опять рассмеялась. Я не понимал, как много она смеется, как и ее мать, как и все женщины Молочны. Они копят дыхание для смеха.

Если только нам будет чем растапливать, сказала Саломея.

Да, сказал я, в таком случае да. И подумал: для растопки, для тепла — протоколы могут дать

жизнь женщинам, как женщины дали жизнь мне. Слова бесполезны, всего-навсего какой-то там документ. Смысл имеет только жизнь. Уход, движение, свобода. Мы хотим защитить наших детей и думать. Хотим сохранить свою веру. Хотим окружающего мира. Мы действительно хотим мира? Если я вне мира, моя жизнь вне мира, вне моей жизни, если моя жизнь не в мире, какой в ней толк? Учить? А чему учить, если не миру? Ненадолго я задумался, а вдруг братья Кооп говорили правду и на севере Молочны действительно бушует пожар. Возможно, они каким-то образом узнали прежде животных, узнали что-то такое, чего животные еще не почувствовали. Если на севере — пожар, на юге, в городе — мужчины, а на западе и востоке — любопытные глаза Хортицы и Хьякеке, куда идти женщинам? Но на севере, конечно, не может быть никакого пожара. И мне надо дождаться, пока к братьям Кооп вернется сознание, чтобы выяснить, правда это или нет.

Свидимся, сказал я Саломее — наше традиционное прощание.

Свидимся, сказала она мне.

Саломея взяла блокноты. Спустилась с лестницы. Я подошел к окну и смотрел, как она бежит от сарая. За школой мне не очень хорошо видна

была вереница повозок.

* * *

В ожидании, когда очнутся братья Кооп:

После ухода женщин я тоже хотел уйти. Наконец-то покончить с собой. Однако я сижу и смотрю за братьями Кооп, чтобы они не пришли в себя раньше, чем женщины уйдут подальше.

Несколько минут назад я прыснул немного белладонны в лицо тому, который покрупнее, Йорену — или Сиббе? Он вскрикнул во сне и зашевелил ногами, будто собираясь вставать. Теперь лежит тихо.

Юноши дышат ровно, глубоко, цвет лица у них нормальный, здоровый, пульс крепкий. Я повернул обоих на бок, чтобы они не захлебнулись, если их начнет тошнить. Я приподнял им головы и подпихнул под них сена вместо подушек. Руки — в мозолях, сильные — сцеплены, как на молитве, кончики пальцев скребут подбородки. Видно, что ни один из них ни разу не брился. Они лежат лицом друг к другу, хотя, конечно, не осознают этого, и в такой близости их сходство поражает. Может, они близнецы? Хотя один, Йорен, или Сиббе, определенно крупнее, выше, мускулистее. Ноги у него больше, по крайней мере судя по

ковбойским сапогам. У Йорена (допустим) расстегнуты пряжка ремня и несколько пуговиц на брюках. Я все поправил, застегнул пуговицы и ремень. А у Сиббе расстегнулся низ рубашки. Я тоже поправил.

Как тихо на сеновале. Женщины ушли. Я стоял у окна и смотрел, как они уходят. Я думал: Молочна стала для меня последним пристанищем, я вернулся сюда в поисках мира и собственной цели, а женщины за тем же ушли из Молочны.

Перед уходом в начале обоза возникло некоторое волнение. Какая-то лошадь — вряд ли Рут, вряд ли Черил, те слишком стары и осторожны, чтобы бузить, — встала на дыбы и вывернула ось повозки на девяносто градусов, так двигаться повозка не могла. Ось пришлось вправить, лошадь успокоить. Это уладили, и лошади, запряженные в повозки, нагруженные женщинами, детьми, припасами, выстроились в ряд, не меньше двенадцати. Они находились далеко, метрах в двухстах, и я не мог рассмотреть ни лиц, ни фигур.

Сначала мне показалось, женщины запели, но потом я понял: они не стали бы делать ничего, что может привлечь к ним внимание сейчас, а может, и всегда. Лишь ветер шелестел в высокой траве за сараем Эрнеста Тиссена, не пение, не яс-

ное, высокое сопрано Оуны. Хотя, может, и пение, но я только воображал его или вспоминал.

Я стоял у окна. Кажется, лицо выглянуло из-за боковины четвертой повозки в веренице, рука поднялась в прощальном жесте?

У меня было ружье. Оно все время у меня было. Когда Саломея (или Мариша?) спросила, есть ли у женщин ружья, я мог бы им его предложить, но промолчал. Эгоизм. Почему в нашем умирающем языке нет слова для «избавления от зла»? Как бы я теперь хотел отдать им ружье. Агата, Грета, Оуна, девочки отказались бы его взять, но Саломею, возможно, Мейал или даже Маришу я, наверно, убедил бы.

Два дня назад, когда я встретил Оуну на тропинке, идущей от ее дома к сараю, где я сплю, ружье было при мне, у меня в руках. Тени удлинялись, и, как я уже говорил, во время разговора, когда я хотел, но не смог спросить, считает ли меня Оуна физическим напоминанием о зле, мы все время отступали на солнце. Бродя по полям за Молочной, я опять рыдал, решительно намереваясь в тот день застрелиться. Увидев на тропинке Оуну, я думал убежать или бросить ружье в кукурузное поле, но замер и просто смотрел, как она приближается.

Идя ко мне, она заулыбалась и почти побежала, махая рукой. Когда мы оказались лицом к лицу, она спросила, куда я собрался и чем занимаюсь, и я ответил: никуда, ничем. Она спросила, не собирался ли я на охоту. Нет, сказал я, не на охоту. Я посмотрел на ружье и сказал: Ах, это, и добавил, что несу ружье обратно в кооператив.

Но зачем оно тебе? — спросила Оуна.

Я посмотрел ей в глаза и задержал взгляд. Она перестала улыбаться. Мы молчали.

Она начала говорить, но потом умолкла. Я опустил голову. Не хотел, чтобы она увидела, как я опять плачу. Она взяла меня за руку, и мы в первый раз вышли на солнце из образовавшейся вокруг нас тени. Она положила мою руку на свой большой живот и, будто прочитав мои мысли, рассказала, как молилась за меня, молилась, чтобы я обрел милость Божью, и что я физическое напоминание о добре, надежде и жизни после насилия. Она вспомнила мою мать и моего отца — не того человека, который воспитал меня и исчез, — но Петерса-младшего.

Моего отца отлучили не за то, что он показывал общине репродукции картин Микеланджело, а мою мать не за то, что она тайком давала уроки девочкам в коровнике во время дойки. Нас про-

гнали, поскольку в двенадцатилетнем возрасте, когда я приблизился к порогу взросления, стало заметно мое разительное сходство с Петерсом, и для членов общины, по крайней мере для Петерса, я стал олицетворением позора и насилия, нераскаянного греха и неудачи меннонитского эксперимента.

Правда ли? Могло ли так быть? Где пребывает зло? В мире там или в мире здесь? На спокойной поверхности Черного моря или в таинственной реке, что течет под ней? В реке, сохраняющей от разложения все, но лишь поскольку там нет воздуха, нет дыхания. Движения. Жизни.

Когда я был маленьким, моя мать в Англии получила работу в библиотеке. Мы остались одни. Отец ушел; он поехал в аэропорт и оставил машину на парковке. Он не спал тысячу лет. Он сел на самолет.

Мать приносила домой книги из библиотеки. Книги все прибывают, а отцы улетают. Мать рассказала мне, что один французский писатель, Флобер, раньше писавшийся просто через «о», а не через «au», в пятнадцать лет сочинил рассказ под названием «Бешенство и бессилие». Она прочитала мне его по-французски, потом по-английски, и на том, и на другом языке кое-как, заполняя

чтение паузами, если паузы могут что-то заполнить, поскольку ни тот, ни другой не являлся ее языком, тем мертвым языком, который мы с ней использовали, делясь тайнами… Флобер грезил о любви в могиле. Но любовь испарилась, а могила осталась. Такова история, написанная Флобером, а возможно, и история меннонитов Молочны.

Теперь смешно вспоминать (впрочем, наверно, тогда тоже было смешно, просто я не замечал), как я декламировал (о, к чему это «декламировал», такое напыщенное, такое комичное), как я повторял слова своим сокамерникам, слова Флобера, обернутые в память о матери, о любви и смерти, о смерти и грезах, а может, и не о смерти. Когда я закончил, часть шевелюры, там, где я чесался, исчезла, я брутально ее выдрал, как будто искал источник чего-то, чего-то мной утраченного, безумие боли. Почему слова о любви, воспоминания о любви, воспоминания об утраченной любви, обещание любви, конец любви, отсутствие любви, жгучая, жгучая потребность любви, потребность любить выливаются в такую бездну насилия?

Молочна.

Оуна держала мою руку на своем животе, пока я не почувствовал внутри жизнь и не улыбнулся.

Почему Петерс принял меня обратно в общину? Почему библиотекарша посоветовала мне вернуться в Молочну? Женщины на сеновале научили меня, что сознание — сопротивление, что вера — действие, что время уходит. Но может ли вера также заключаться в том, чтобы вернуться, остаться, служить?

Служит и тот, кто разворачивает свой плуг и снова боронит распаханную землю.

Может быть, есть в Петерсе малая, но сущностная, обжигающая частица, стремящаяся к миру? И если так, не обязан ли я признать это? Или даже если не обжигающая частица, а едва тлеющий уголек, разве я не должен надеяться, что он разгорится? А в таком случае разве не должен я находиться здесь, в Молочне, как физическое напоминание не о зле, а о Божьей милости? Не знаю. Но знаю точно: от меня больше пользы, если я буду жить, учить читать, писать и считать, играть с мальчиками в Летучего Голландца, а не лежать мертвым на поле с пулей в голове. Ауна знала это с самого начала. Она сказала, что хочет попросить меня об одолжении, что я ей нужен для ведения протоколов женских собраний. Сначала я сомневался, но какая тут могла быть отговорка? Что я мог ответить? Мол, к сожалению, не смогу

вести протокол, так как смертельно раню себя из ружья в голову?

Теперь мне ясно, я так и сказал — глазами, молчанием, ружьем. (Особенно ружьем.)

Я спросил, зачем ей и другим женщинам протоколы, если они не смогут их прочесть? (Правда, она тоже могла спросить у меня: Какой смысл быть живым, если ты не в мире?)

Вот тогда-то она и рассказала мне историю о белке и кролике, об их тайной игре, добавив, что, наверно, ей не полагалось видеть, но она все-таки видела. Может быть, женщинам и не нужны были протоколы, которые они не смогут прочесть. И цель изначально состояла в том, чтобы я их вел.

Цель состояла в том, чтобы я их вел, протоколы.

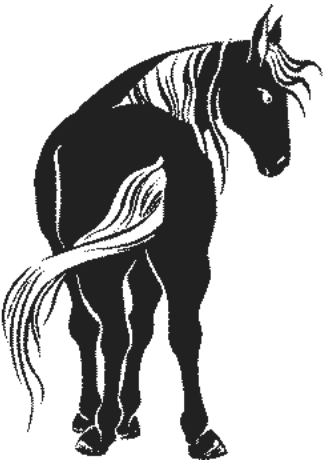
Жизнь.

Я улыбаюсь. Вижу, как мир заключается в себя, подобно волнам, только без моря и сковывающих его берегов. В протоколах не было никакого смысла. Смех, да и только.

Я стою у окна и принюхиваюсь, силясь уловить запах дыма, но его нет, а если и есть, я не чувствую.

Неужели женщины идут прямо в бушующий огонь? Я смотрю на юношей — они спят, точнее,

без сознания, — и молча умоляю их сказать мне правду.



Благодарности

Моя благодарность трем женщинам, без которых эти страницы остались бы пустыми: издателю Линн Хенри, агенту Саре Челфент и матери Эльвире Тейвз.

Хочу также поблагодарить девушек и женщин, живущих в патриархальных, авторитарных (меннонитских и не меннонитских) сообществах по всему миру. Моя любовь и солидарность.



© CAROL LOEWEN

Мириам Тейвз является автором бестселлера «Женские разговоры», финалиста Governor General's Literary Award for Fiction, во многих публикациях названного лучшей книгой года. Написала еще шесть романов, также получивших прекрасную прессу бестселлеров: All My Puny Sorrows (лауреат Rogers Writers' Trust Fiction Prize и Canadian Authors Association Award for

Fiction, финалист Scotiabank Giller Prize, the Folio Prize и the Wellcome Book Prize), *Summer of My Amazing Luck*, A Boy of Good Breeding, A Complicated Kindness (лауреат Governor General's Literary Award for Fiction, лауреат Canada Reads, финалист Scotiabank Giller Prize), *The Flying Troutmans* и Irma Voth, а также произведения в жанре нон-фикшен Swing Low: A Life. Также отмечена наградами Libris Award for Fiction Book of the Year, the Writers' Trust Marian Engel/Timothy Findley Award и Italy's Sinbad Award for Fiction. Живет в Торонто.